ВАСИЛЬ БЫКОВ

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА



Василь Быков

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

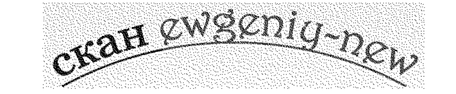
Магаданское книжное издательство
1985

84Бел7
Б 95

Текст печатается по изданиям:
Быков В. Сотников; Колокола Хатыни. М.: Знание. 1978;
Быков В. Дожить до рассвета. М.: Известия, 1979.

Художник В. В. Мягков

Б $\frac{4702120200—003}{М—149(03)—85}$ 13—85





ПОМНИТЬ!

У меня хранится старенький, военных лет снимок, изрядно потертый за годы в нагрудном кармане гимнастерки. На фото, наспех сделанном где-то в тылу на формировке,— четверо офицеров, командиры рот и взводов, ни одному из которых не посчастливилось дожить до Победы.

На снимках взгляды тех, кого нет среди нас, могут мало что выражать, но мы, волею судьбы или случая выжившие, ставшие более чем вдвое старше и, надо полагать, мудрее, мы обязаны увидеть в них то сокровенное, что так дорого было для них и в равной степени важно для нас сегодня.

Прежде всего мы обязаны разглядеть молчаливую просьбу помнить, не забыть в череде лет их имена и их дело, поведать потомкам о смысле их жизни, и особенно — их безвременной смерти, ведь миллионы мужчин, парней, женщин приняли смерть, ясно сознавая, что, как бы ни была дорога жизнь, судьба Родины несравненно дороже.

Давно известно, сколь обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая временем, которое по крупицам уносит в забвение сначала второстепенное, менее значительное и яркое, а затем и существенное. Незафиксированные в документах, не осмысленные искусством

история и исторический опыт быстро вытесняются из памяти вереницей текущих событий, навсегда утрачиваются для духовной сокровищницы народа. В годы войны, когда человеческая жизнь нередко являлась лишь средством к цели, не суть важным казалось имя погибшего, главной заботой живых было вовремя придать земле упавших рядом. Второпях, в горячке боев мы ограничивались словами известной эпитафии на фанерной табличке под такой же фанерной звездой. Теперь усилиями общественности, ветеранов войны и юных следопытов восстановлены и продолжают появляться имена даже на самых глухих захоронениях. В этом заключен справедливый и глубоко гуманный смысл, ведь имя на обелиске — это последнее, что остается от бойцов в жизни.

Когда вглядываешься в знакомые и незнакомые лица солдат, не вернувшихся с войны, редко в котором из них не прочтется вопрос, обращенный к нам: а вы, те, что уцелели и так долго живете после нашей кровавой войны, вы нынче — какие? Многое, очень многое заключено в этом невысказанном вопросе, и для меня лично — он самый трудный и самый обязывающий. А что он подразумевается, этот вопрос, я не только чувствую, но знаю наверняка: сам на их месте обратился бы к живым прежде всего именно с этим вопросом. Он самый существенный из всего, что может связать во времени мертвых с живыми.

С годами мы меняемся, не обязательно делаемся хуже, просто становимся иными. Но как важно, чтобы это изменение, если уж оно неизбежно, происходило в сторону нравственного совершенствования, вело к улучшению, а не к ухудшению — трусости, равнодушию, очерствению, гипертрофии себялюбия... До конца дней оставаться верными духу товарищества, сохранить в себе готовность в любой момент ринуться в бой за правое дело, за справедливость, в защиту добра — разве не этот безмолвный призыв сквозит во взглядах наших оставшихся навечно молодыми товарищей?

Теперь, когда снова стал зыбким мир на земле, мы обязаны напомнить об уроках, преподанных людям войной с фашистскими варварами. Помнить — значит не допустить новой всемирной трагедии, которая грозит существованию самого рода человеческого. Помнить!

В. Быков



СОТНИКОВ

1

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели вперемежку с ольшаником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор,— было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мер-

цапии звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегала здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном

сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине послышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

— А! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку.— Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется,— чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Поэтому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что в общем беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко,— ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздирающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поесть бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится,— глухо согласился Сотников.— Неделю на пареной ржи...

— Да уж и парёнка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал,— сказал Рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью, будет и дом с сараями и задранным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно чувствуя близость жилья, волк осторожно и неширoко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофлянища, и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ними было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор.

— Подрубали называется! — бросил Рыбак, уныло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то,— сипло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и, когда перестал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармони. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными,— больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру

начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согреет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали,— оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! А то, гляди, совсем окочуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак.— А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся, не может быть...

2

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в кар-

каны, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, которое сегодня вдобавок ко всему начало еще и лихорадить.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубок, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, и тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А узнав, что предстоит сходить в село за про-

дуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова, и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже,— подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего. И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче,— издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной лощине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться,— кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, но отсюда ему плохо было видно, что́ именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес, а вокруг стыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, вгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колеям дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл

Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вглядались в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик, не разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезла дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться,— решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу.— Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай,— односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверное, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток пробиралась из-под Слонима на восток

небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или на беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леска. Сотников опять приотстал, его суконные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блестел с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его полнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. В тусклой сумятице мыслей

порой явственно проглядывало что-то из его прошлого...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны слагается не только из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груду покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно палили вверх из винтовок, но пользы от такой их

стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном в батарее тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что им и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались обнаглевшие «юнкерсы» и «хейнкели», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западнобелорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале: несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снарядных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак: ПНШ, закуривший из его пачки, намекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной пла-

хой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне, навстречу шли пехотинцы; невдалеке, видно было в ночи, зажженное авиацией, что-то горело ярким, на полнеба, пламенем — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте не много увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячей волной взрыва, он тут же вскочил: «Комсомолец» сильно осел на правую гусеницу. И тут началось...

Как раз светало, за вербами ярко синел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батарее развернуться вправо и влево, но не так просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрав вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало соляровым дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться,— они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько

скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покореженные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было заряжено), дрожащими руками кое-как довернул толстенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестие панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу, из-под незакрепленных сошников, брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат вперил гаубичный ствол в его серое лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто яичная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица

своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вздребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, второй или третий снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось, последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка; рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло, тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под лавой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но чувствовал, что оглох: взрывы

вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив, за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка.

Потрясенный неожиданностью разгрома, Сотников минуту осоловело смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда...

3

Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, они проходили стороной по дороге, но в деревню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало заботило — важнее было определить, нет ли там немцев или полицаев, чтобы ненароком не угодить в западню.

Он недолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не

было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахнуло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо,— негромко сказал Рыбак.— Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе,— там начиналась улица. Но возле крайней всегда больший риск напороться на неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригумье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак сделал по ней два шага, но тут же соступил в снег — на тропке пронзительно заскрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли так, по обе стороны стежки, к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук — во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо

стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека — завидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то возился с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, заслышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она замерла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался — он уже знал, что в этой деревне спокойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи боже, и напугалась же! Ой, господи...

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаев. Был один, так в местечко перебрался. А больше нет.

— Так,— Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла.— Деревня как называется?

— Лясины. Лясины деревня,— полная внимания и еще не прошедшего испуга, отвечала тетка.

Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо было бы тут и отовариться: подход-выход хороший, на пути гум-

но, лесок — если что, все это прикроет их от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я,— будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу,— вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наверно стараясь угадать тайную цель их ночного визита.

Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто,— упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора.— Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться, иродам!

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит не врет, можно верить. И он про себя недовольно чмыхнул, поняв, что и здесь, наверно, ничего не выйдет,— не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине.

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую настороженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул на спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорище. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удальства работе.

На четвертом ударе трещина криво обежала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сынок. Дай бог тебе здоровьичка,— без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь...

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили: ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Пётра Качан. Он теперь старостой тут,— простодушно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутошний.

Рыбак, помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак приметил в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки — и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота завертку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной

бородой человек, сидевший за столом в наброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер,— со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным пристуком закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и не догадывался, кто они, эти непрошеные ночные пришельцы.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг.

Старик вздохнул и, наверно, поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну,— сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом.

В то время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежли за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пень — не принимает ли он их за полицаев? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки,— обрадовалась приглашению хозяина женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова.— Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой...

— Можно и присесть,— согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насунута на примороженные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Боится»,— подумал Рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет,— с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж, голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего...

Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланной нерешительностью обратился он к Сотникову.— Подкрепимся, если пани старостиха угощает...

— Вот и хорошо. Я сейчас,— обрадовалась женщина.— Капусточка, наверно, теплая еще. И это... Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда,— решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу. Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится,— вздохнул старик.— Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак.— Видно, с характером».

В березовой раме на стене среди полдюжины раз-

личных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно-спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш,— ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиции случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был...

— Ой, божечка, как пошел в тридцать девятом, так больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили...— ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха.

— Так, так,— сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику: — Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь,— с жаром подхватила от печи хозяйка.— Опозорил и сына и всех чисто...

Это было несколько неожиданно, тем более что старостиха говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста вперил укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не его в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу: — Ваша вина.

— Да-а,— неопределенно произнес Рыбак, не поддержав малоприятный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода. Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам,— с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем,— сказал он Сотникову.

Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно мало понимая состояние гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо,— сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так извините...

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю,— сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, однако, почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать,— проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул библию.

— Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг,— сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечавший обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, попра-

вил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке.— Ты враг. А с врагами у нас знаешь какой разговор?

— Смотря кому враг,— будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом Советской державы. Заводить долгий разговор с ним Рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой,— сказал хозяин.

— Значит, сам.

— Как сказать. Вроде так.

«Тогда все ясно,— подумал Рыбак,— не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого начала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и, несмотря на годы, большой и плечистый — встал, заслонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене.— Ну!

Видно, старостиха привыкла к послушанию — всхлипнула напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие. Вон,— он коротко кивнул на простенок,— ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин: действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким тоном не врут.

Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиха. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что,— безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста.

Старостиха перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал: было весьма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча распахнул

дверь. Направляясь за ним, Рыбак кивнул Сотникову:

— Ты подожди.

4

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, господи!

— Назад! — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери.

Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они там...

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверно, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове.

Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выгоры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колупавшейся в грядках. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая темная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально вгляделась в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как попасть на тропинку и перейти кладки, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное же, голодный»,— торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сынок» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком» — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видать, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, ког-

да уже не оставалось малейшей надежды спастись...

Старостиха тем временем все не могла успокоиться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!

— Надо было раньше о том думать,— холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало просила! На какое же лихо ему было браться? Были которые помоложе. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не боятся?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут весь век свой живем, нашей вон родни полсела. Он же старается ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок,— не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют: то хлеб сдай, то одежду какую собери, то на дорогу приказывают выгонять снег чистить. А он же где возьмет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят. А как же? Чтоб их бог ограбил! Приехали на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Говорят: сын в Красной Армии, так чтоб вину сгладить перед Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их Германия!

«Проклинай, но не очень я поверю тебе»,— сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда, однажды ему послыша-

лось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины, испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно. И он обмер в растерянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на их рукавах белели повязки, а рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал той ласковой тетке,— он только оттолкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверно, в овражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полицаям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сынок», «деточка»...

Старостиха, не слыша ничего страшного со двора, немного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутошние мужики упросили. Ой, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лясинах, еще никакого старосты нету. Ну, мужики и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так,— говорят,— тебе их норов знаком, потерпи каких пару месяцев, пока наши вернутся. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Буди-

ла этот тоже из Лясин, плохой — страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт бы по нем плакал... Так это Петра, дурака, и уговорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горюшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще наганом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи, и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то начинал бить так, что кололо в мозгу. Старостиху он слушал и не слушал, вникать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, мало трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные, причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не ударился о стену. Хозяйка, сама испугавшись, кое-как поддержала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да ты же больной! Ах божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как хрипит в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько заварю...

Она с искренней готовностью помочь юркнула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и вправь его дело дрянь, если так забеспокоилась эта тетка.

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уже ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже примечаю. Если, может, некогда, то нá малинки сухой, может, заваришь где-либо, попьешь. А это вот зельечко...

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не желал этой тетке хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. В это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал и с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднять на плечи.

— Так. Ты иди,— ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте,— и прикрой дверь. Нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакомому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу.

Сотников потащился следом.

5

Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по-ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине — откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты, хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставить одного, он бы, наверное, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником, но что поделаешь: разве тот вино-

вал? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одеждой и тогда, наверное, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем нетяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко, и тепло, и надеть, и укрыться где-нибудь на ночлеге. Спасибо дядьке Ахрему: не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недолгому по войне примаку.

Ну что ж, если бы не война. Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой, глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в избу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утих-

ло, водворилась новая, немецкая, власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время, и тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой, и, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он окруженцы — кто выздоровел от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома,— начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жен. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо — так надо: дело военное». И он, и тетка Ануля собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что ли? А мо-

жет, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случалось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие.

В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, но потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удержать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе...

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника,

оказалось неожиданно широким и длинным: наверно, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.

— Ну как? Ничего?

— Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется,— отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не приметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что

это чуть слышный топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощутив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу — разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо было податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге: их оказалось двое — вторые

почти впритык следовали за первыми. Но седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уже немного, чтобы скрыться за покатой спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — там бы они, наверно, ушли. Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попались!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так

несли его, что Рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он приметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было то, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде бы уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздались сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было оглянуться с овцой,— Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж... Как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко

прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине ощетинился голыми ветвями ольшаник, в рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Спачала это обрадовало Рыбака: значит, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху, с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека, и, хотя пока не бегут к нему — они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так случалось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по четыре-пять человек за минуту, и все тем же самым примитивным

способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих понимал, что́ его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота. Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вряд ли его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали, за кустарником, грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось»,— подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

6

Сотников не имел намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спасаться уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся.

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они

появились неожиданно близко от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное, заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет,— в правом бедре вдруг запекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.

Сзади опять послышались голоса — наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся

на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вываляны в снегу, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание — двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, двое сзади,— неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустился лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — перебоялся уже за десяток самых безвыходных положений,— страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой уча-

сти, хотя, кажется, такая его минует. Спастись, разумеется, не придется. Но он был в сознании и имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильней стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдается, они там по всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда — на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше; от стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут — постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка подташнивало. Он испугался, что может потерять

сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил,— не сдаться живым.

Сотников осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой.

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед

ним никого не было. Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились...

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела, месяц вверху опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаю...

Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх.

Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись — возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел: они возвращались к дороге.

Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что опасался напрасно: невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Однако новый поворот дела даже воодушевил его — с одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле — стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок

и, не поднимая головы, поискал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по полю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он натянул его, хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб.

И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос.

— Сотников, Сотников...

Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак! Сотников отчетливо расслышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: гибель откладывается.

7

Они поползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда

и вовсе замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицай все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял снег в рукавах и за воротником полушубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади никого не было, полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну, как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо,— едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то... обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может...

Слабо заворошившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах, то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще как-либо удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стылые ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то нехорошим присвистом, иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии — не давая себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом,

сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Правда, Рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма,— глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться.

— И откуда их черт принес? — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся.— Вот уж действительно: беда одна не ходит...

Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндевевшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит,— буркнул Сотников.

— Терпи,— грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закру-

тившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отозвалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и Рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь...

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, пробуй», — подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо тащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень

просто могут не успеть. Если утро застигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутиться.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз, оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь.

Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами; в одном месте что-то неясно зачернело, и, подойдя ближе, Рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но

с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник в который уж раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться...

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Он недолго постоял над Сотниковым, который немощно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только поддаться испугу, занервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько

уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц и поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле: глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно рощица, очень куцая рощица — гривка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, нечеткие силуэты кустов. Но вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полоску дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как никогда кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

С помощью Рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложе винтовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заме-

тил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью, к тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой — другого выхода не было.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор, дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они потащились в сторону рощи.

8

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилевшее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и закостенел; другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег.

Покамест они добрели до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в лощине тянулись заросли мелколесья, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни: ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.

— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так, посреди дороги. И они, еще более

приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось, послано богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки, и раскидистые суковатые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толщенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем исстрадалось, намерзлось, зашлось глубинной неутихающей болью.

Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем Сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалост-

ной настойчивости Рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел бы ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего в гумне перепрячемся.

«Подождать — это хорошо,— подумал Сотников,— лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дождаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросался в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку.

Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверно, давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал одинокий камень, не было даже креста.

Струхлевшая оградка доживала век — видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал: «Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это возможно? И зачем это надо?

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определятся счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?»

Сотников на всю жизнь запомнил, как летом

в полевом шталаге немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унизил ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно ожидая решения свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли, но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле боя; ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих (они случайно оказались рядом, за стенкой барака).

Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел Рыбака. Вместо того чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого...

— Ну?

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет,— заметно обрадовался Рыбак.— А мне надо... Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим... А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно,— нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели, и все прочее...

Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладел с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что

так, может, и лучше: по крайней мере на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйственная рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук; угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свеженатоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы,— там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.

— Ну.

— А отец где?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят,— тише сказал Рыбак.— Ты чем покормить нас найдешь?

— А бульбочку мамка утром варила,— отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокоченными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверно, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.

— Ну, давай подрубаем,— подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшееся его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней

уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз.

— А хлеба что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уже девять.

— Много. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать твою как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Дёмчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян?

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно, потянулся за новой картофелиной, под столом

загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать? Пацанка еще.

— А вот и знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, ранили, да?

— Ранили или нет, о том ни гугу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегаю, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— ...Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди...

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще не успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес — реденький сосняк при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвав-

шие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке их расстреляют. Они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты, наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю сосначка, затем прозвучала команда всем сесть — как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно — обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше».— «Разве неясно что». Сотников осторожно повел в сторону взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке — опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотни-

ков уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир этот был сильный, приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителе; из-под мокроватой с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крякнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец, ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, тотчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторяя про себя: «Жив! Жив!»

К сожалению, соснячок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов

неожиданно окончилась, впереди разлеглось уставленное рядами крестцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше — по стерне через поле, туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую, с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, и Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевясло — солома, туго нырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень — обычный, размером в кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и не-

мец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец сгоряча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать коня,— и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы, а также ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда; и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве, он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

9

Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно, уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя — приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.

Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на проходе отодвигалась дерюжка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание

товарища, все больше сокрушаясь оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно,— думал он,— заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать».

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты — характером его бог не обделил, энергии также хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень не сладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем ему пока что везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, мамка, а у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека.

— Здравствуйте, хозяйка,— со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте,— холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка.— Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал Рыбак,— что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее — свалянные, нечесаные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской.— Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы,— сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибирать возле печи: горшки — на загнетку, ведро — к порогу, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала: продолжая убирать, задернула занавеску под лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей.— Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотлеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли.— Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Дёмчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полицая, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при Советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.

— А где твой Дёмка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Дёмку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям. Рыбак все думал, не зная, как наконец подступиться к Дёмчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее.

— Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Дёмчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему,— сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Дёмчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо,— сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезшими клочьями серой ваты, измятую телогрейку.— На, все мягче будет.

«Так,— мысленно отметил Рыбак.— Это другое дело. Может, еще подобреет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным.

— Больной,— уже другим тоном, спокойнее сказала Дёмчиха.— Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет,— отмахнулся рукой Рыбак.— Ничего страшного.

— Ну конечно, вам все не страшно,— начала сердиться хозяйка.— И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиться, вспотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее,— кашляя, сказал Сотников.

Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко раскраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях.

— Что же еще может быть хуже? — допытывалась Дёмчиха, убирая со стола миски.— Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим,— шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунами. Однако похоже было на то,

что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички — рану обмыть. Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали,— как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват.— Говорят, одного полицая подстрелили.

— Полицая?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верно,— улыбнулся на конце скамейки Рыбак.— Они все знают.

Дёмчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугунке и направилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно,— согласился Рыбак и ступил к Сотникову.— Давай бурок снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и с виду вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кро-

воточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое,— озабоченно сказал Рыбак.— Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь,— начал раздражаться Сотников.— Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Нога Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягался и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Дёмчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стеснительно съежился.

— Не бойтесь! Нате вот, перевязывайте, чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон и, как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая,— сказала Дёмчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка.— Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужаленный он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица,— он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок.

Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла, кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стежке, как раз, наверно, по их недавним следам. Как только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бе-

жать было нельзя. Дёмчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Дёмчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Дёмчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу. Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стены.

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли.

Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом, костра из пакли обсыпала лицо и кололась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же опи старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Дёмчихой.

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицаи, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они протопали по двору, кажется направляясь к двери. Дёмчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости,— глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей,— был им ответ.

«Э, не надо так,— с сожалением пронеслось в голове у Рыбака.— Зачем задираться!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть?

— А у меня лавка, что ли?

— Тогда гони пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам на-

делаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос.— Партизан так, наверно, сметанкою кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения: а вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет, пока что стучали в сенях, наверно, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, постзасада — будут караулить дорогу.

Они все еще шарили в сенях, как Сотников рядом неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверью, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Дёмчиха.— Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевывал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неуемных потугах. Но, видимо, было поздно — их уже услышали.

— Кто там? — наконец прозвучало внизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет,— слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Дёмчиха.

Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стась! — властно скомандовал громкий свирепый бас.

Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — громким басом командовал внизу полицай.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Дёмчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей.

Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицай все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел снизу командирский бас.— Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! На автомат! Автоматом чесани!

«Это уже все, точка»,— сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было кончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал будто неживой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже даже, перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уж не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между

жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу мать! — ласковой бранью приветствовал их полицай, взбираясь на чердак.

10

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев, не очень боялся, что могут убить,— его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака да и Дёмчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Дёмчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в от-

чаянии думал, что напрасно они отзывались, пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Дёмчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель,— так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу — в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, али вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Дёмчиха.

Старший полицай важно повернулся к другому, в кубанке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось,— выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины.

— Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников.— За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную Дёмчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол в винтовку.

— Будет знать за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал.

В сенях их обыскали: выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ременными супонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили обоих на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Дёмчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеней обжигал больную грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже приморожениые уши — пилотку он потерял где-то, наверное на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь уж все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли,— может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплевывая

белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Рыбак взглянул на него и снова опустил голову.

— А теперь вас помоют-побанят и того, мало-мало подвесят. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицай так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый!» Но смех этого малого как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицай разразился матом: — Такие-сякие немазаные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам размотаем кишки!

— Не знаем мы никакого Ходоронка,— уныло сказал Рыбак.

— Ах не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Понял?

Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Рыбак негромко спросил:

— А в армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив

в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сеней.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка комиссара взял. Тому не понадобится,— сказал полицай и, продолжительно посмотрев на Рыбака, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову.

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками, и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял, ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в бога душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицай. Возчик — староватый, напуганный дядька в рваном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он превозмогал немощь и боль.

Из избы почему-то не возвращался старший полицай, за ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Дёмчихи. Сотников с тревогой вслушался — оставят ее или нет? Минуту, похоже было, там что-то искали: постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала Дёмчиха:

— Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставлю? Гады вы немилосердные!..

Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком; заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке, возле ограды, они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Дёмчиху. Бедная тетка! Бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицай вызверялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Дёмчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гэлечка моя, как же ты будешь?!

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты погань несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запродавец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой.

Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Дёмчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи! Истязатели!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.

Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы!

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабо? — Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался.

Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни,— сказал он с расчетом на Рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах.— Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать,— закивал головой Стась и опустил винтовку.— Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на твоего Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло равнинным, лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро, ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись — больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню — лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что, если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представил, как нетерпеливо их ждут в лесу, наверно, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову. Можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками — всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас. Если бы не Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гастинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и Рыбак подумал: хана! Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки их не-

большого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и Рыбак с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и меткий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверно, он подстрелил нескольких фрицев. Они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало. Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее какая-то пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделяв-

шую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может, потому вместе попали на это задание.

Но теперь конец, это точно. Не важно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли, но все же...

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки,— сколько он незаметно ни выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть?

А может, стоило попытать счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, Рыбак тем не менее все примечал

вокруг, высматривая хоть сколь-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.

11

В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака и за Дёмчиху. Особенно его беспокоила Дёмчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников.

Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак, потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, в морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака; бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли и Сотников и Рыбак.

Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле; селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться.

Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полицая в длинном караульном тулупе, с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверно бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Полицай, наверное, ждал их, и, когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный, очищенный от снега двор, со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка.

— Привезли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась.— Мы да кабы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор — отсюда уже не убежишь. Пока возчик и Рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда — сельского

оплота немецкой власти. Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной.

— Давай их сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей,— поодаль отряхивались полицаи и обреченно стояла Дёмчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сгорбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке. Изо рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней — как ни повернись, болью заходилась нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Дёмчиху и, как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы.

— Ты что? Ты, что, чмур?! — взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога.

Адская боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай:

— Ах ты, выродок комиссарский! Ишь заступник нашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицая

бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой захлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял от пола лицо. В помещении никого больше не было, это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда уже не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась неуютной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади на полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку.

«Ну вот, тут все и кончится! — подумал он.— Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жес-

токо терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большой ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то вошел, перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстуке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш,— с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона.

Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека.

В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысинами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому учит немецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами, а тот в деланном испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность.

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно недослышав, озабоченно нахмурил лоб.

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить,— сказал Сотников.

Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уже терпеть.

Полицай кивнул Гаманюку.

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет орудия пыток — должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытают, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес большую эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал,

наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять.

— Ну, познакомимся,— довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел.— Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим,— сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем,— согласился следователь, хотя ничего не записывал.— Из какого отряда?

Ого, так сразу и про отряд! Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.

— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью, однако, и выдававшие тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверно имевшего на своем сче-

ту не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно наконец прорвется, хотя и не знал, как крепки нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет наконец с себя маску.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно пособником у вас эта женщина?

— Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было,— спокойно объяснил Сотников.

— Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к лесиновскому старосте вы также зашли случайно?

Вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверно, в тот самый вечер. «Пожалели, называется, не захотели связываться»,— подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно,— после паузы твердо сказал Сотников.

— Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, только жалел несчастную Дёмчиху, которую неизвестно как надо было выручить.

— Вы можете поступить с нами, как вам заблагорассудится,— сказал Сотников.— Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет,— глядя в упор, объявил следователь.— Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно соврешь в мелочах — не поверят и в правду. А правду о Дёмчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь.

— А если я, например, все объясню, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь.

— Я не обязан вам ничего обещать! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся»,— уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверно, пропала Дёмчиха!

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы. Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ощетинился следователь.— А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы! Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников.— Недавно еще, на-

верное, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с допросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите? — сказал Сотников.

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуете?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем,— сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога, кажется, его выдержка кончилась.— Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко беспокоились.

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной, возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались не равными, преимущество было на стороне противника: все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов вперил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чер-

товски трудно, казалось, опять уходит сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал: это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу к господину следователю!», после чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий, буйволоподобный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз.

— А ну!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромная ручища широко сгребла на

запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А ну, большевистская гнида!

12

«Достукался!» — почти зло подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Дёмчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Дёмчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила тьма, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загремел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Дёмчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади: оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту.

Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицаем и Дёмчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут, маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем лязгнул засов, Дёмчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Изза двери доносился их удаляющийся, деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве.

— Садись. Чего стоять? Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и...

«Так-так»,— стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой? — несколько деланно удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свету из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежели забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что!.. Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции уже все известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, а им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак нисколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли всего только овцу, и не у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и только удивлялся, как это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — затянуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та порешит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и сонно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный, невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его... Правда, он не хотел думать об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробивались тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погрузившись в свои тоже, разумеется, невеселые мысли,— теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полицая ночью поранил, неизвестно, выживет ли,— после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его.

Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить?

Рыбак затаив дыхание слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает,— сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а,— вздохнул Рыбак.— Значит, кокнут. Это у них просто: пособничество партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит судьба. Куда денешься...

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму...

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!», и в тот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут,— сказал Петр.— И на людей не смотрят — носятся, как холеры какие. Наверно, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют.

— Крысам теперь только и шнырять.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс. Ах ты боже мой...

Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полицай хохотнул коротко и противно, а в Рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом: его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старосты осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полушубочек и скинешь,— с силой хлопнул его по плечу Стась.— А ничего полушубочек, ей-богу. И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда? — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге.— У тебя какой номер?

— Тридцать девятый,— солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг вызверился полицай.— Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрямиться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери.

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полицай-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек.

Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак,— подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна, сел в кресло. Дер-

жал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно...

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа в ответах, но Рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы,— сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Проверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колене полу полушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу»,— с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте.

— Так, так, понятно,— соображая что-то, прикинул следователь.— Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд.

Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь.

Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не затем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять: верят ему или нет?

— Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжал допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что

там осталась группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь. У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору: кажись, от Сотникова они немного узнали, значит, можно насказать сказок — пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им.

— Так! — Следователь откинулся в кресле.— А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я,— сказал Рыбак не слишком, однако, решительно.

Тут уже ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: «Чтоб ты издох, сволочь!» Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия? Зачем бы она ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю,— наконец сказал он.— Я недавно в этом отряде...

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов.— А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр.

— Ах, Петр.

Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник, но тотчас он сообразил: следователь хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля,— терпеливо поправил Рыбак.— Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда же?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтярня, Ульяновка. Ну и эта, как ее... Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Дёмчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями поддернул сползавшие в поясе бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь намерения выгородить Дёмчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. До Дёмчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся.— Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически ухмыльнулся.— Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был

ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланной преданностью взглянул в живые, с начальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплеванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это... Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь.— Ты что, глухой?

Стась встрепенулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Ты, значит, откладывается? — дернул его за

рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое лицо полицая.

Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

13

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали...

Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь.

— Черти! Не слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытье и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг, Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода...

Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вожделенное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во

время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести-десяти секунд, наверно, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бессмыслицей, за которой едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие и без того нестерпимые его страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо...— сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай! — злобно заметил Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек помирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно; Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Звери!

— Тихо вы! — сказал Рыбак.— Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, паузы,— наверно, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промычал что-то Сотников.

— Да-а, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет.

Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему важно было выиграть время — все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло,— рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик.

Эти его слова неприятно задели Рыбака — какое ему дело? Но он спокойно ответил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмотрел в угол — становилось не по себе от непрошеных пророчеств этого человека: откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять засту-

чали каблуки. Шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась.

— На́ воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицая круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного сыграть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно, трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на солому.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось,— выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, не очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю,— шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом.— Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и...

— Ничего я им не скажу,— перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не услышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят.

Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более надежном месте.

— Слушай! Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет,— наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

«Вот дурила»,— подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай,— помолчав, горячо зашептал Рыбак.— Нам надо их пова́дить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию,— как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься,— язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело; Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задышал труднее — от волнения или от хвори; попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь красноармейскую честь. Живыми они нас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться...

— Для кого стараться? — срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: — Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.

«Наверно, не в карты»,— про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной, игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь. Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

«Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудаком человеком»,— подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться со стороны

и сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину. Пусть напорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в забытье, и Рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет — он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицаями обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Странным это было и противным — думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В его смерти он видел единственный для себя выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там; длинный и тонкий хвост настороженно пролег по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сползал за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог, сидел и с неясным брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.

14

Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое место в углу.

Полицай не спешил закрыть двери, и Рыбак у стены весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь наконец затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако,— на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало. Будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда,— согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разгладил усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд ну и еще кое-что.

— Вот как! — неприятно удивился Рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым.— Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников.

— Кто это?

— Да тот, лесиновский староста,— подавленно сказал Рыбак.

Разговор на этом прервался, Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять затопали шаги на ступеньках, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и теперь, видно, не забирали никого — напротив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась

и полицай, посвистывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу,— маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак.— Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Дёмчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр.

— Это Меера-сапожника дочка. Допрашивали тебя?

— Ага,— тихо подтвердила девочка.

— Меера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот... одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?..— И Петр вновь тяжко вздохнул.

Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места — где-то поблизости сидели женщины,— почему же девочку подсадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.

— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... А ты не сказала?

Бася затаилась, будто обмерла, молчала.

— И не говори,— одобрил погодя староста.— Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченое, а про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога.

— Иди сюда,— позвал Петр.— Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор, рядом тихонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал муж-

ской голос. На ступеньках затопали, заматерились — сомнений не было: это возвращали с допроса Дёмчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Дёмчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужчины, а, божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась.— До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в словах полицая.

Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром грос аллес капут! Фарштэй?

«Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Дёмки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться

к Дёмчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Дёмчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал — было за что. Но она мало-помалу успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а,— озадаченно вздохнул Петр.— А Демьян в войске...

— Ну. Дёмка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие...

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Дёмчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровкался.

— Знаю Портнова, а как же,— сказал Петр.— Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный!

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-то? Наш! Филиппёнок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал — страх! В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал — божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрищеных, добрался.

— Это уж так,— согласился Петр.— С евреев начали, а гляди, нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродкам этим.

— Я вот думаю все,— беспокойно заворошился староста,— ну пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. И стреляют! Сколько перебили уже...

— Как этот, как его... Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье,— глухим басом степенно рассуждал лесиновский староста.

Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Дёмчиха:

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут,— вздохнул Петр.— Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь... Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу назначат — совсем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а,— неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое,— буркнул Рыбак, закругляя неприятный для него разговор.

То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо: адски болела нога от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то

нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось как с Дёмчихой, которая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещее сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл лишать жизни эту несчастную Дёмчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

15

Как-то незаметно Рыбак, сдается, заснул, как сидел — сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытье на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему

про Басю. Изредка его перебивал хрипловатый старческий шепот — это вставлял свое слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, говорит, прячься». Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куст в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку — как сидишь тихо, не шевелишься, нисколечко тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется — позовет, я услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, стало страшно. Все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводы, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу, тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать,— спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот... Так больно было, что помереть хо-

тела. Просила и маму и бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на отшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полок босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на господа бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых, чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок — и на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни через пятнадцать лет, задержалась старушка у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла... Прощаясь тогда, Рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок.

Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно,

остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью на огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет...

— Пусть бы мышей ловил,— отозвалась из темноты Дёмчиха.— У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромадного, да на чердак не встащила — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так то, наверно, у нее котята были,— догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно... Ну, а потом как же ты?

— Ну так и сидела,— тихонько и доверчиво шептала Бася.— Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Ис-

кали какую-то рожь и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай — свиньи там были. Ну и я возле них. Затиснусь ночью между свиньей и подсвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— А, господи! Вот намучилась, бедная! — вздохнула Дёмчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела... Ну там в корыте выбирала что-то...

— Ой, до чего людей довели, боже, боже!.. А хозяева что, так и не заметили?

— Заметили, конечно. Заспала однажды — уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен, притаилась. Толстый такой клен там...

— Ой, наверно, что против аптеки? — догадалась Дёмчиха.— Так там же Игналя Супрон жил...

— А тебе что? — неласково перебил ее Петр.— Кто ни жил, не все ли равно? Зачем спрашивать.

Дёмчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! А что потом... Ни к чему теперь и таиться — все равно... Свет не без добрых людей: Басю ко мне переправили, в деревню. Рассудили верно — у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались: меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли...

Рыбак совсем не удивился и этому, подумал только: плохо прятал, значит. Спрятал бы хорошо — не нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними! Что они все ему?

К тому же, наверно, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погодя нарушила Бася.

— Под полом мне было хорошо: тетка Арина мне сенничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула и сразу слышу — ругаются. Полицаи!.. Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнаглели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол, садись. И я тут... Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Дёмчиха.

— Так что ж... Что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том

памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля Рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось, вопреки желанию,— видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это считалось совсем уже мальчишечьим делом. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокую, с водой, рытвину в логу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком возу, как всегда уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью,

конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза.

Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной, в другой раз он, наверное, ни за что бы не выдержал, но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага.

Потом его хвалили в деревне, да он и сам был доволен своим поступком — все-таки спас от беды себя, коня и девчонок — и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить.

И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв.

Только здесь не растеряться мало, и никакая смелость здесь не поможет, здесь нужно что-то другое, чего ему явно недоставало. Тут он связан по рукам и ногам и, видно, ничего уже сделать не сможет.

Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверно, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверно, уже поздно.

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему...

16

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота; столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было темно и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым, напряженным вздохам, скупым движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих выродков: оставить его живым они не могли — могли разве что замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо: пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью, и он почти завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте великой войны.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел,— как

позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашло смерть и от его руки.

И вот наступил конец.

Все сделалось четким и категоричным. И это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет.

На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни,— теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он — командир Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу, он жертвовал собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников.

Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодновато, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне — неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.

Приснился ему странный, путаный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом — действие почему-то происходило в ружейном парке училища. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленные пылающие уголья, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...»

Сотникову показалось, что это из библии — толстая ее книга в черном тисненом переплете когда-то лежала на материнском комоде, мальчишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшало-книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как библию цитировал отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...

Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того — кавалерийского поручика с двумя «георгиями» на широкой груди — офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминой шкатулке.

Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер — вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие — ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть возбраняется»,— говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.

Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери.

И тогда мальчишка решился взять пистолет сам.

Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов; мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо натянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку

блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими ворончеными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал пистолет — подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было не просто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом

механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолел мариниста?

Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына.

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил,— упавшим голосом произнес сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога.— Какое ты

имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.

— Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?

— Да.

— Если сам, конечно, надумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул.

— Ну и за то спасибо.

Это было уж слишком — ложью покупать отцовское спасибо, в глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй,— сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то ослушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась...

17

В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги, глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери,

временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху понемногу светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмиревшей Дёмчихи напротив; в углу неподвижного, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрестанно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу. Но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Дёмчиха из-под смятого платка также тревожно-понимающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загремела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился, принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног — и в дверь»,— с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг спать! — во все горло заревел полицейский.— Отоспались. Выходи: ликвидация!

«Значит, не ошиблись, действительно конец,— пронеслось в сознании Рыбака.— Если бы кого одного, а то всех, значит...» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохав, нача-

ла подниматься Дёмчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище.— Ну ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметайсь! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться,— сострил Стась и тут же вызверился: — Гэть, юда паршивая!

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием наизготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановилась Дёмчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шинели.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся.

Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойно:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился — не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю,— проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног.

Но полицай сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и глянул через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему,— такого, наверно, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: — Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или нет?

Но до Портнова, наверное, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу,

и его оттолкнули в сторону. Взялись за Дёмчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Дёмчихи.

Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной, полицейской форме: черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах, при пистолетах; двое, наверно немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе.

Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицая,— не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака.— Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите одного меня.

Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадеживщее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности.

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой.

— Ведите!

«Вот как, не хочет даже и слушать»,— опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова? Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была — теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господин следователь! Господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил...

Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и необмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой готова была навсегда оборваться.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен,— со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак.

Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он

мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих,— теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Дёмчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые, а, божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой.

— Ведите! — сказал он и повернулся в сторону Рыбака.— Вы подсобите тому,— вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицаи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась Дёмчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он мол-

чал, и Рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...

18

Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно. По крайней мере, не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасе-

ния своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.

Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Сотников понемногу приходил в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился: какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или скорее всего согнали население, чтобы устрашить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще

легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам,— теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания, в глазах темнело, дорога то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главною целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились, впереди послышался разговор по-немецки — несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживающего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения — дальше дороги уже не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачива-

лись над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых, со знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась»,— мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздниками ее убирали березой и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерневших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверно специально ради такого случая выписанных со склада, веревок. А он думал, будет расстрел...

Двое — полицай и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую, колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унизительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей.

Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов, это их право, их звериный обычай, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закостеневшую, болезненную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать-двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколона, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему

самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю.

Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Дёмчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край, к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Дёмчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю.

— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал Будила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Дёмчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих» — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему Рыбаку: «Держи!», он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку.

Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался наверх.

Минуту он тихо стоял, узко составил ступни на круглом неширoком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой — в этом все дело.

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Дёмчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках — приговор, или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки, ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых

обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, намороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все»,— отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на топковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороженностью на бледном, болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток. Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздались команды по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Дёмчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Дёмчиха,— дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему, чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно заругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.

19

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и Дёмчихой, болталась налегке пятая веревка — не дождется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Дёмчихи желтый фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!

Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, огляды-

вались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что́ от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настороженно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! — с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты околел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами.

— А ты думал!

— Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак.— О ком о́н? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что́ тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при чем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув набок головы, с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут

с этой виселицы, но никто из полицаев даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных встал часовой — молодой длинношеий полицайчик в серой суконной поддевке, с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полицаи привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький болезненного вида мальчишка в буденовке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в сторону локти.

— Смирно!

Полицаи в колонне встрепенулись и снова замер-

ли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло: он был среди победителей. На полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это нимало не трогало, наверное, сказывалась привычка, на бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же

со всевозрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь,— какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого, нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове, оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего.

— Мабуть, без привычки? Научишься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честолюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то, живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицай громогласно доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур,— сказал он, нащупывая глазами Рыбака.— Ты зайдешь ко мне.

— Есть! — сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок.

— Яволь, а не есть! Привыкать надо.

«Пошел ты к черту!» — выругался про себя Рыбак. И вообще пусть все летит к дьяволу.

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицаи во дворе загалдели, затолклись, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

— Эй, ты куда?

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досок вверху чернели полосы толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть, как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверно, ничего уже не поделаешь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.

1970



ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Все. Спорить не будем, стройте людей! — сказал Ивановский Дюбину, обрывая разговор и выходя из-за угла сарая.

Длинноногий, худой и нескладный, в белом обвисшем маскхалате, старшина Дюбин смолк на полуслове; в снежных сумерках быстро наступающей ночи было видно, как недовольно передернулось его темное от стужи и ветра, изрезанное ранними морщинами лицо. После коротенькой паузы, засвидетельствовавшей его молчаливое несогласие с лейтенантом, старшина резко шагнул вперед по едва обозначенной в снегу тропинке, направляясь к тщательно притворенной двери овина. Теперь уже притворять ее не было надобности, широким движением Дюбин отбросил дверь в сторону, и та, пошатываясь, косо зависла на одной петле.

— Подъем! Выходи строиться!

Остановившись, Ивановский прислушался. Тихо звучавший говорок в овине сразу умолк, все там затихло, как бы загипнотизированное неотвратимостью этой, по существу, обыденной армейской команды, которая теперь означала для всех слишком многое... Через мгновение, однако, там все враз задвигалось, заворошилось, послышались голоса, и вот уже кто-то первый шагнул из темного проема дверей на чистую белизну снега. «Пивоваров»,— рассеянно отметил

про себя Ивановский, взглянув на белую фигуру в новеньком маскхалате, выжидающе замершую у темной стены сарая. Однако он тут же и забыл о нем, поглощенный своими заботами и слушая хозяйское покрикивание старшины в овине.

— Быстро выходи! И ничего не забывать: возвращаться не будем! — глуховато доносился из-за бревенчатых стен озабоченно-строгий голос Дюбина.

Старшина злился, видно, так и не согласившись с лейтенантом, хотя почти ничем не выдавал этого своего несогласия. Впрочем, злиться про себя Дюбин мог сколько угодно, это его личное дело, но пока здесь командует лейтенант Ивановский, ему и дано решать. А он уже и решил — окончательно и бесповоротно: переходить будут здесь и сейчас, потому что сколько можно откладывать! И так он прождал почти шесть суток — было совсем близко, каких-нибудь тридцать километров, стало шестьдесят — только что мерил по карте; на местности, разумеется, наберется побольше. Правда, в конце ноября ночь долгая, но все же слишком много возлагалось на эту их одну ночь, чтобы неразумно тратить столь дорогое теперь для них время.

Лейтенант решительно взял прислоненную к стене крайнюю связку лыж — свою связку — и отошел с тропы в снег, на три шага перед строящейся в шеренгу группой. Бойцы поспешно разбирали лыжи, натягивали на головы капюшоны; ветер из-за угла сердито трепал тонкую бязь маскировочных халатов и стегал по груди длинными концами завязок. Как Ивановский ни боролся со всем лишним, груза набралось более чем достаточно, и все его десять бойцов выглядели теперь уродливо-неуклюжими в толстых своих телогрейках, обвешанных под маскхалатами вещевыми мешками, гранатными сумками, оружием, подсумками и патронташами. Вдобавок ко

всему еще и лыжные связки, которые были пока громоздкой обузой, не больше. Но все было нужно, даже необходимо, а лыжи, больше всего казавшиеся ненужными теперь, очень понадобятся потом, в немецком тылу; на лыжи у него была вся надежда. Это именно он предложил там, в штабе, поставить группу на лыжи, и эту его идею сразу и охотно одобрили все — от флегматичного начальника отдела разведки до придирчивого, задерганного делами и подчиненными начальника штаба.

Другое дело, как ею воспользоваться, этой идеей.

Именно эта мысль больше других занимала теперь лейтенанта, пока он молчаливо, со скрытым нетерпением ждал построения группы. В снежных сумерках разбирали лыжные связки, глухо постукивая ими, сталкивались на узкой тропинке неуклюжими, нагруженными телами его бойцы. Как они покажут себя на лыжах? Не было времени как следует проверить всех их на лыжне, выдвигались к передовой засветло, согнувшись, пробирались в кустарнике. С утра он просидел на НП командира здешнего стрелкового батальона — наблюдал за противником. Весь день с низкого пасмурного неба сыпал редкий снежок, к вечеру снежок погустел, и лейтенант обрадовался. Он уже высмотрел весь маршрут перехода, запомнил на нем каждую кочку, и тут пошел снег, что может быть лучше! Но как только стало темнеть, ветер повернул в сторону, снегопад стал затихать и вот уже почти совсем перестал, лишь редкие снежинки неслись в стылом воздухе, слепо натыкаясь на бревенчатые стены сарая. Старшина предложил переждать пару часов, авось опять разойдется. В снегу бы они управились куда как лучше...

— А если не разойдется? — резко переспросил его Ивановский.— Тогда что ж, полночи коту под хвост? Так, что ли?

Полночи терять не годилось, весь путь их был рассчитан именно на полную ночь. Впрочем, старшине нельзя было отказать в сообразительности — если переход сорвется, не понадобится и самая полная, самая длинная ночь.

Правофланговым на стежке стал сержант Лукашов, из кадровых, плотный молчаливый увалень, настоящий трудяга-пехотинец, помощник командира взвода по должности, специально откомандированный из батальона охраны штарма на это задание. Во всем его виде, неторопливых, точных движениях было что-то уверенное, сильное и надежное. Подле устраивался на тропке тоже взятый из стрелков боец Хакимов. Хотя еще и не было никакой команды, смуглое лицо его со сведенными темными бровями уже напряглось во внимании к командиру; винтовка в одной руке, а лыжи в другой стояли в положении «у ноги». Рядом стоял, поправляя на плечах тяжеловатую ношу взрывчатки, боец Судник, молодой еще парень-подрывник, смышленый и достаточно крепкий с виду. Он один из немногих сам попросил взять его в группу, после того как в нее был зачислен его сослуживец, тоже сапер, Шелудяк, с которым они вместе занимались оборудованием КП штарма. Ивановский не знал, какой из этого Шелудяка подрывник, но лыжник из него определенно неважный. Это чувствовалось в самом начале.

Суетливый и мешковатый, этот сорокалетний дядька, еще не став в строй, уже развалил свою связку, лыжи и палки разъехались концами в разные стороны. Боец спохватился собирать их и уронил в снег винтовку.

— Не мог как следует связать, да? — шагнул к нему Дюбин.— А ну дай сюда.

— Вы на лыжах как ходите? — почувствовав недоброе, спросил Ивановский.

— Я? Да так... Ходил когда-то.

«Когда-то!» — с раздражением подумал лейтенант. Черт возьми, кажется, подобрался народец — не оберешься сюрпризов. Впрочем, оно и понятно, надо было самому всех опросить, поговорить с каждым в отдельности, каждого посмотреть на лыжне. Но самому было некогда, два дня протолкался в штабе, у начальника разведки, потом у командующего артиллерией, в политотделе и особом отделе. Группу готовили другие, без него.

Быстро темнело, наступила зимняя холодная ночь, снегопад постепенно затихал, и лейтенант заторопился. Дюбин, казалось, слишком долго провозился с лыжами этого Шелудяка, пока связал их. В строю с терпеливым ожиданием на темных под капюшонами лицах стояли его бойцы. За Шелудяком переминался с ноги на ногу важный красивый Краснокуцкий в островерхой, как у Дюбина, буденовке, за ним застыл молчаливый Заяц. Последним на стежке стоял, наверно, самый молодой тут, земляк лейтенанта и также артиллерист Пивоваров. Да, лейтенант недостаточно знал их, тех, с кем, видимо, придется вскоре поделить славу или смерть, но выбора у него не было. Разумеется, было бы лучше отправиться на такое дело с хорошо знакомыми, испытанными в боях людьми. Но где они — эти его хорошо знакомые и испытанные? Теперь трудно уже и вспомнить все деревеньки, погосты, все лески и пригорки, где в братских и одиночных могилах погребенные, а то и просто ненайденные, пооставались они, его батарейцы. За пять месяцев войны уцелело не много, неделю назад с ним вместе пробились из немецкого тыла лишь четверо. Двое при этом оказались обмороженными, один был ранен при переходе у Алексеевки, до самого конца с ним оставался вычислитель младший сержант Воронков. Этот Ворон-

ков очень бы сгодился нынче, но Ивановский не смог разыскать его. Вычислителя отправили в стрелковый батальон на передовую, откуда, к сожалению, не всегда возвращаются...

— Так... Равняйсь! Смирно! Товарищ лейтенант...

— Вольно,— сказал лейтенант и спросил: — Всем известно, куда идем?

— Известно,— пробасил Лукашов. Остальные согласно молчали.

— Идем к немцу в гости. Зачем и для чего — об этом потом. А теперь... Кто болен? Никто? Значит, все здоровы? Кто на лыжах ходить не умеет?

Коротенький строй настороженно замер, темные, истомленные ожиданием лица строго и покорно смотрели из-под бязевых капюшонов на своего командира, который теперь безраздельно брал под свое начало их солдатские судьбы. Все, притихнув, молчали, наверно, еще не во всем, что им предстояло вскорости, разбираясь сами, но ничего, кроме как целиком положиться на него, командира, да на этого вот долговязого старшину, который второй день опекал группу, им не оставалось.

Ивановский через прорезь в маскировочных брюках запустил руку в карман и вытащил увесистый кубик часов, когда-то снятых им с подбитого немецкого танка. Часы живо и радостно затикали на его ладони, засияв фосфоресцирующим циферблатом. Было без десяти минут семь.

— Итак, в нашем распоряжении двенадцать часов. За это время, конечно, минус час-другой на переход боевых порядков противника, нам предстоит отмахать шестьдесят километров. Ясно? Кто не способен на это? Говорите сразу, чтоб потом не было поздно. Потом некуда будет отправить. Ну?

Он выжидательно обвел взглядом строй, в котором ничто не шелохнулось, и было так тихо, что по-

слышался шорох сдуваемых ветром с крыши снежинок. Но снова никто не отозвался на этот его такой далеко не пустячный теперь вопрос.

— Тогда все. Старшина — замыкающий. Группа — за мной марш!

Их никто не провожал тут, вся торопливая подготовка по переходу была закончена раньше. Час назад на КП командира стрелкового батальона они условились, что батальон будет молчать, чтобы не настораживать немцев, и они постараются прошмыгнуть незамеченными в самых первых, только что наступивших сумерках. Впрочем, если бы и потребовалась помощь, то чем мог помочь батальон, который лишь именовался таковым, а на деле состоял из стрелковой роты, не больше, да и командовал им недавний командир роты, старший лейтенант, пулеметчик. Он пообещал прикрыть их в крайнем случае огнем, хотя это и было вынужденное обещание по требованию капитана из разведотдела штарма, который присутствовал там. Но капитан побудет и скоро уйдет, а батальону воевать дальше, боеприпасов к тому же у него не густо, и начальство потребует беречь их для более важного случая.

Правда, капитан совсем не настаивал, чтобы он переходил именно здесь и сегодня. При виде того, как стал утихать снегопад и перед ними очень уж открыто и пустынно раскинулась эта широкая речная пойма с извилистой полосой кустарника посередине, представитель штаба заколебался.

— Да, действительно. Как на пустой тарелке. Впрочем, решай сам, лейтенант. Тебе виднее.

— Пойду,— просто сказал Ивановский.

— Что ж, твое дело. Может, оно и к лучшему: сунуться туда, где не ожидают.

«Черт его знает, где они не ожидают. Не спросишь»,— озабоченно подумал лейтенант. Но он не

мог больше откладывать — в том деле, на которое они отправлялись теперь, промедление действительно было смерти подобно. А он и так уже промедлил сверх меры, хотя, конечно, и не по своей воле.

Проваливаясь по щиколотку, а где и по колено в снег, бойцы гуськом поднялись на пригорок. Ивановский оглянулся и впервые остался доволен — коротенькая колонна его послушно подобралась, никто не отстал, не замешкался; остановился он, и почти одновременно остановились все остальные. Дальше следовало подождать, может, передохнуть даже, залечь — с вершины холма их могли уже заметить немцы. Над поймой и на склонах, где расположился батальон, стояла тишина, дальние отзвуки боя докатывались лишь из-за леса справа, там же что-то неярко отсвечивало в темном и мутном от низких облаков небе. Наискось уходила в темноту пойма с тусклыми мазками кустарника, пятнами присыпанных снегом зарослей камыша над речкой, гривками бурьяна, вылезшего из-под снега. До речки было полкилометра, не меньше. Это пространство надо было преодолеть на четвереньках, потом изрядный отрезок придется ползти по-пластунски, а дальше уже и трудно определить как, только бы побыстрей оказаться по ту сторону поймы в спасительном, совершенно не видном отсюда лесу.

— Ложись! За мной марш! — вполголоса скомандовал лейтенант и опустился локтями в снег.

Снег был глубокий, рыхлый, как вата, и морозно-некучий. Он безбожно набивался во все щели маскировочного халата, в рукавицы, рукава, за пазуху и голенища сапог и подтаивал там, холодной, противной мокрядью расплываясь по телу. От этой смешанной с потом мокряди то бросало в озноб, то становилось душно, парно, удушливая горечь распирала грудь. Ивановский зубами содрал с руки трехпалую

рукавицу и мокрыми пальцами дернул за тесьму капюшона. Лицу стало прохладнее и свободнее, а главное — отпустило уши, он услышал шорох ветра в бурьяне и невнятные разрозненные звуки сзади.

Проползли они, наверное, с полкилометра, пригорочек с сосняком едва серел сзади на краю мрачного ночного неба, которое в серых сумерках почти что сливалось с заснеженным полем. Следа-борозды, проложенного их десятью телами, к счастью, не было видно даже вблизи, как и самих бойцов. Правда, это лишь в темноте. Ивановский знал, что стоит взлететь ракете, как, словно на ладони, станет виден в снегу весь проложенный ими след, да и они сами тоже.

Покамест, однако, было темно и тихо. Бой тяжелой глухой воркотней едва докатывался сюда из-за леса, там же с вечера гуляли по небосклону широкие огневые сполохи — отсветы дальней канонады, и промерзшая земля под локтями глухо, глубинно подрагивала. В той же стороне, за лесом, изредка вспархивали в небо желтые звезды ракет, которые тут же гасли в мутной мешанине света и тьмы.

Надо было как можно скорее одолеть эту пойму; переднего края они еще не прошли, еще предстоял самый опасный путь вдоль речушки. Но и так уже все притомились, группа начала заметно растягиваться. Ивановский вдруг спохватился, что не слышит дыхания Лукашова, который полз следом. Лейтенант оглянулся и минуту выждал, сам переводя дыхание, хотя и знал, что медлить здесь нельзя ни минуты. Но усталость, видно, притупила осторожность, поодаль уже второй раз что-то несильно стукнуло — наверно, винтовкой о лыжи, и лейтенант нервно напрягся, впившись в снеговой полумрак обостренным злым взглядом. Разгильдяи, иначе не назовешь! Ему так не хватало теперь возможности

покрыть их крепким злым словом. Действительно, сколько ни твердил, что лыжи надо держать в левой, а винтовку в правой руке, но вот, наверно, кому-то понадобилось сгрести все в одну кучу, и теперь стучит...

Сзади зашевелился в темноте серый сгорбленный ком в маскхалате, шумно дыша, он подполз и замер у самых ног лейтенанта. За ним шевелился еще кто-то, а дальше уже невозможно было и разглядеть — мешали сумрак и снег. Ивановский спросил осиплым усталым шепотом:

— Ползут?

— Ползут, командир,— также шепотом ответил сержант.

— Передай — шире шаг!

В низинке снег стал еще глубже, люди зарывались в нем по самые плечи. Под намокшими коленями прощупывалась мерзлая колючая трава, наверно, начиналось болото. Ивановский не смотрел на компас — как и обычно, направление он угадывал по характерным изменениям рельефа, который здесь был знаком ему по карте. Тут все время следовало держаться низинки, по ней выйти к кустарнику на берегу речки и дальше ползти под кустарником. Путь ползком предстоял еще длинный, он, конечно, вымотает их как следует. Но только бы не напороться на немцев, на какой-нибудь их замаскированный ночной секрет. Тогда уже незамеченными не пройти, и все может кончиться скверно в самом начале.

Ивановский, однако, отогнал от себя эти мысли и сквозь окончательно сгустившуюся мглу вгляделся вперед. Вроде совсем уже недалеко темнел кустарник, за ним была засыпанная снегом речушка. Это место — он помнил по карте — располагалось как раз посередине нейтралки, дальше по пригорку начиналась небольшая, разбитая минами деревенька,

в которой засели немцы. Правда, их первый окоп был и еще ближе — через какую-нибудь сотню метров за речкой; там группе надлежало повернуть вдоль русла и попытаться проскользнуть в кустарнике между этим окопчиком и другим — в стороне, на мыске остроносого, словно большая опрокинутая ложка, пригорка.

Тем временем снег не только стал глубже, но и сделался совсем рыхлым, под руками шуршала пересыпанная им мерзлая, не скошенная летом трава. Они ползли по болоту. Ивановский неосторожно надавил коленом и проломил непрочную еще корку мха, из-под которой туго плюхнуло на снег водой. На секунду он остановился, чтобы прислушаться, не выдал ли себя этим неосторожным движением. Но тут начинался кустарник, рукой подать топорщились ветки ольшаника, заросли красной лозы, что непролазной стеной торчала из снега. Ивановский еще немного прополз под кустарником, чтобы дать своей растянувшейся таки группе подобраться поближе и разместиться под спасительным его укрытием. Кустарник надежно укрывал их со стороны деревни, тут им уже не страшны были и ракеты. Правда, оставался еще открытый и опасный пригорок-ложка с другой стороны, но этот пригорок все-таки был на некотором от них отдалении. Оттуда их могли не заметить даже и при свете ракет.

Все время лейтенанту не терпелось встать и оглянуться, как там, в хвосте, не слишком ли растянулись последние. Теперь очень важно было держать всех в одном кулаке, в такой ситуации разобщенность граничит с бедой. Правда, в случае чего там есть кому распорядиться: последним полз Дюбин, кажется, в общем не глупый человек, раза в полтора старше самого лейтенанта. Но Дюбин был из запаса, и хотя характером его бог не обидел, но хватит ли

у него чисто фронтового умельства? Ивановский, сам кадровый командир, испытавший все муки войны с ее самого первого июньского дня, несколько не доверял запасным и, чтоб было вернее и надежнее, обычно старался часть возложенной на них ноши переложить на себя. Сегодняшняя его короткая стычка со старшиной, предложившим повременить с переходом, оставила неприятный осадок у обоих. Лейтенант не терпел делить свою власть с кем бы то ни было да еще в таком деле, где он целиком полагался лишь на себя, свою сообразительность и решимость. Пока, в общем, все обходилось, повезет — обойдется и дальше, и тогда он как-нибудь при случае напомнит Дюбину...

Сзади в борозде рыхлого снега сипато зашептал Лукашов:

— Теперь куда, товарищ лейтенант?

— Тихо! Как там сзади?

— Да ползут. Шелудяк вон отстает только...

Опять Шелудяк! Этот Шелудяк еще в батальоне именно своей мешковатостью вызвал недовольство лейтенанта, но в суматохе скороспешной подготовки Ивановский просто выпустил его из виду, подумав, что человек он здоровый, выдюжит. К тому же группе необходим был сапер, и выбора никакого не было, пришлось брать первого попавшегося под руку — этого вот немолодого и мешковатого дядьку. Но война в который уж раз убеждала в необходимости, кроме обыкновенной силы, еще и умения, тренировки. Впрочем, тренировки у них не было никакой, на нее просто не хватило времени.

Целый день начальник разведки с начальником особого отдела пересматривали и утрясали списки, подбирали людей, и, когда наконец составили группу, ни о какой тренировке нечего было и думать.

Оставив на месте лыжи, Ивановский обошел Лу-

кашова и пополз по его следу назад. Шелудяк действительно оторвался от сержанта и теперь устало и грузно гребся в снегу, задерживая собой остальных. Лейтенант встретил его тихим злым шепотом:

— В чем дело?

— Да вот вспотел, чтоб его! Скоро ли там, чтоб на лыжи?

— Живо шевелитесь! Живо! — подогнал он бойца.

Покачивая задранным задом, навьюченный под маскхалатом тяжелым вещмешком со взрывчаткой, Шелудяк на четвереньках пополз догонять сержанта. За ним подались и остальные. Лейтенант пропустил мимо себя Хакимова, Зайца, Судника, еще кого-то, чьего лица он не рассмотрел под низко надвинутым капюшоном, и дождался старшину Дюбина.

— Что случилось? — спросил тот, ненадолго задерживаясь возле Ивановского. Лейтенант не ответил. Что было отвечать, разве не видно старшине, что группа растянулась, нарушила необходимый порядок, к которому имел определенное отношение и старшина как замыкающий.

— Кто стучал в хвосте?

— Стучал? Не слышал.

Ну, разумеется, он не слышал. Ивановский не стал продолжать разговор, замер и прислушался. Поблизости, однако, все было тихо, наши на пригорочке с сосняком настороженно молчали, молчали впереди и немцы. Девять бугристых тел в белых, пересыпанных снегом халатах ровно лежали в разрытой ими снежной канаве.

— Надо слушать,— коротким шепотом заметил Ивановский.— Сейчас переход. Чтоб мне ни звука!

Старшина промолчал, и лейтенант на четвереньках быстро пополз вперед, обходя бойцов. Он не видел их лиц, но почти физически ощущал их насто-

роженные, полные ожидания и тревоги взгляды из-под капюшонов. Все молчали. Обгоняя Шелудяка, который, виновато сопя, распластался в борозде, Ивановский строго потребовал:

— Изо всех сил! Изо всех сил, Шелудяк! Понял?

Лейтенант выполз в голову своей, теперь уже подтянувшейся пластунской колонны и снова пополз в самом глубоком снегу на краю кустарника. Одною рукой он волочил по снегу лыжи, другой — автомат; сумка с автоматными дисками сбивалась с бедра под живот, и он то и дело отбрасывал ее за спину. В снегу он напоролся на какую-то кучу хвороста, который звучно затрещал в ночи; зацепившись за что-то, порвался маскхалат; застряли в снегу лыжи. Чертыхаясь про себя, лейтенант минуту выпутывался из этой ловушки, потом взял в сторону, несколько дальше от кустарника. Где-то тут недалеко должен был повстречаться ручей, впадавший в речушку; от ручья начинался самый опасный отрезок пути в разрыве немецкой линии.

До ручья, однако, он еще не дополз, когда впереди и совсем близко звучно щелкнуло в воздухе, засипело, заискрилось, и яркая огненная дуга прочертила по краю неба. Разгоряченный борьбой со снегом, Ивановский не сразу понял, что это ракета. Несколько не долетев до них, она торжественно распустилась вверху букетом ослепительно сияющего пламени, и снежная равнина с кустарником затаилась, замерла, сжалась, залитая ее лихорадочной яркостью. Потом что-то там пошатнулось, дрогнуло и все ринулось в сторону; по пойме метнулась путаница стремительных теней. Ракета упала на снег за кустарником и еще несколько секунд сверкала остатками своего холодного пламени.

Ивановский затих, где лежал, почти не дыша, грудь его распирало от нехватки воздуха, возле лица

на ветру крутилась снежная пыль. Лейтенант ждал выстрелов, криков, следующих ракет, но в сгустившейся темноте ночи стояла прежняя напряженно-зловещая тишина. Тогда он прикрыл на секунду глаза, чтобы скорее преодолеть ослепление, и снова всмотрелся вперед. Он недоумевал, откуда тут могла появиться ракета, ведь в том направлении, откуда она взлетела, немцев не должно было быть — там болото, речушка, кустарник. Туда ведь как раз предстояло ему ползти. Теперь получалось, что тот путь им закрыт.

Сзади его тронул за сапог Лукашов, но лейтенант не оглянулся даже и не отозвался, обеспокоенный единственным теперь вопросом — заметили или нет? Если заметили, то, наверное, их сегодняшняя попытка на том и окончена. Если нет, следовало побыстрее убираться с этого злополучного места.

Прошла еще минута, но не было ни выстрелов, ни ракеты, и Ивановский подумал, что, по-видимому, там сидит высланный на ночь ракетчик, которого разумнее обойти. Лейтенант круто повернул в кустарник, на четвереньках достиг невысокого берега речки, над которой клонилось несколько черных кряжистых ольх, и решительно перевалился с берега на ровную поверхность присыпанного снегом льда. На другом берегу заросли оказались пореже, неширокой полосой они тянулись вдоль берега, а далее начинался пригорок с деревней и немецким окопом под скособоченным сараем на отшибе.

Сержант Лукашов не отставал ни на шаг, и когда лейтенант остановился в нерешительности, тот подполз рядом и шепнул в лицо:

— А давайте речкой...

— Тих...

Положение усложнялось. На этой стороне они оказались слишком близко к противнику, пробрать-

ся мимо него было возможно лишь вдоль самого берега. Куда как соблазнительно было податься на гладкую ровность замерзшей речушки, но она здесь петляла, словно запутанная чертом веревка. «Это сколько же понадобится времени, чтобы выползать все ее петли? — уныло подумал Ивановский.— Опять же, а если где плохо замерзла?»

Ему показалось, что прошло чересчур много времени, что он непростительно долго провозился в этом кустарнике и запаздывает уже в самом начале. Вздрогнув от охватившей его тревоги, лейтенант оглянулся, но сзади уже все перебрались через речушку и ждали, чтобы двинуться дальше. В сером сумраке ночи поблизости невнятно темнело несколько лиц, остальных и вовсе не было видно, и он с новой решимостью пополз по снегу.

В этот раз он прополз очень недолго, снова и с того же места вспорхнула ракета, с ней вместе долетел щелчок выстрела. Лейтенант вжался в снег, изо всех сил вглядываясь в черно-белую путаницу ветвей на ярко освещенной белизне снега. Нет, ракета пошла в прежнем направлении, на ту сторону поймы, откуда они ползли. Значит, их все-таки не заметили. Дождавшись, когда ракета сгорела, он с облегчением дернул лыжную связку и сам, на локтях и коленях, стремительно рванулся вперед. В наступившей глухой темноте он несколько долгих секунд не видел перед собой ничего, только греб и греб снег и тащил лыжи. И вдруг снова ослеп от невероятно яркого света, который прямо с небес мощно обрушился на пойму — снег засиял, заискрился, тени от кустарника широким полукругом быстро повернулись на пойме, ярко отпечатавшись на снегу, и замерли. Замер и он, с каждым мгновением чувствуя, что этот ярко-белый простор вот-вот пронижут трескучие пулеметные очереди. Как всегда в минуту наиболь-

шей опасности, мысль его среагировала с предельной быстротой, он понял, что это от пуньки, значит, совсем уже близко. Ракета вся без остатка сгорела в вышине, но по-прежнему было тихо, и он снова стиснул веки, чтобы переждать ослепление. Если заметили, то надо подаваться назад, за речку, под защиту ее бережка, а если нет... Тогда быстрее надо ползти вперед, подальше от этого проклятого места, где тебя так нагло подсвечивают с обеих сторон.

Выстрелов все не было, значит, еще не заметили, и он с дерзкой решимостью рванулся вперед, вдруг ощутив в себе новый порыв риска и удачливости. Быстрей, быстрей! С неожиданной силой и ловкостью он полз вдоль берега, весь закопавшись в снегу, который нещадно забивал лицо, рот, не давал дышать и слепил глаза. Когда же зрению возвратилась прежняя способность различать в темноте, он вдруг отметил, что слева от деревни его прикрывает какой-то бугорок высотой по колено,— наверно, обмежек на границе нивы и покоса. Это его куда как обрадовало, теперь он не страшился ракет: вся его воля устремилась к единственной цели — вперед!

Он полз долго и быстро. Под одеждой на груди и спине уже все стало мокрым от пота и снега, на своих сзади он не оглядывался, это было без пользы: теперь он не мог подогнать их. Он лишь полагался на власть своего примера, на силу солдатского правила — равняться по командиру.

Когда в небе опять загорелась ракета, он замер с занесенной вперед рукой и низко над снегом оглянулся: так и есть — бойцы опять растянулись, опять за сержантом образовался разрыв этак шагов на двадцать. Обмежек как на беду тут уже окончился, теперь их ничто не прикрывало от передового окопа немцев. Одно хорошо — сарай на пригорке остался сзади, уже ракета летела в тыл. Впереди же опять

расстилалась широкая ровность с рядами негустого, исчезавшего в сумерках кустарника по одному ее краю.

Ракета погасла, и на душе у него отлегло, самое трудное вроде бы миновало. Это было так хорошо почувствовать,— коротенько и сдержанно-радостно,— но не успел он опять двинуть вперед связку лыж, как совсем близко сзади неожиданно гулко бахнул винтовочный выстрел. Почти ужаснувшись, Ивановский пружинисто обернулся, рука привычно ухватилась за шейку обмотанного бинтами автомата, но ни сзади, ни по сторонам он не обнаружил решительно никакого движения. Все окрест будто обмерло, один только выстрел — и больше ни звука, и нигде никого поблизости. Спустя несколько секунд, однако, ярко засветило сразу в двух местах над кустарником. Лейтенант из-за плеча проследил за полетом ракет — они, как и предыдущие, упали сзади, но тут же взвились еще две по обеим сторонам речки. В их ярком свете густым пронзительным треском залился пулемет от сарая, огненные трассы стеганули по кустам возле речки, несколько пуль срикошетило от бугорка, за которым они только что прятались, и зелеными брызгами разлетелось в стороны. Пулемет слепо, но верно нащупывал их при свете ракет и так близко шарил струями пуль, что их спасал лишь обмежек. Ивановский лежал и скрежетал зубами от немого отчаяния — так все шло хорошо и, на́ тебе, срывалось из-за какого-то нелепого выстрела...

Наверно, они так пролежали долго, лейтенант начал вздрагивать от озноба, мокрое его белье ледяным панцирем облипало тело. Вверху сгорело с десяток ракет, пулемет возле пуньки вроде бы стал затихать. И тогда сзади раз и другой его потрогал за сапог Лукашов. Ивановский на снегу вывернулся лицом назад.

— Кудрявца ранило.
— Сильно?

Вместо ответа сержант пожал плечами и тоже обернулся назад, наверно, ожидая разъяснения оттуда.

Было от чего выругаться, но Ивановский лишь судорожно сжал в рукавицах по пригоршне снега. Что и говорить, начало было испорчено, но вскоре могло произойти и еще худшее — их запросто могли обнаружить в поле. Тем не менее разбираться, ползти назад теперь не было времени, и он приказал первому, кого различил в темноте за сержантом:

— Шелудяк, марш назад. Забрать раненого и назад.

По лицу сапера скользнуло что-то растерянное, тем не менее он разгреб телом снег, развернулся и исчез в темноте. Ивановский тут же спохватился при мысли, что с раненым лучше бы послать не его, а кого-нибудь более для того способного, но возвращать Шелудяка теперь уже не стал. «Пусть живет!» — с чувством неожиданного великодушия подумал он. Не каждому выпадает такое, но этот старик, наверно, больше других имеет право выжить,— все-таки отец семейства, дома трое детей, а это что-нибудь да значит.

Немцы возле сарая молчали, так ничего, наверно, и не обнаружив; стало тихо, только за лесом все урчала, ворочалась и вздыхала далекая орудийная канонада. Ивановского снова охватило беспокойство за время, которое, невзирая ни на что, мчалось дьявольски быстро, и лейтенант даже испугался, что вконец опоздает. По правде, он не предвидел столько неожиданностей в самом начале и теперь подумал невесело: а что еще будет!

Ивановский рванулся вперед, но не прополз и десяти шагов, как опять замер от потока стремитель-

но метнувшихся в его сторону трасс. Распластавшись на снегу, лейтенант вгляделся в ту сторону, где едва заметным бугорком темнел в отдалении сарай, и живо попятился назад под защиту все того же маленького, едва заметного вблизи обмежка. Все-таки, наверно, их обнаружили. Вверху с шипением и треском жгли небо ракеты, а пулеметные трассы, огненно сверкая в темноте, секли, низали, взбивали снег как раз на их предстоящем пути из-за пригорка. Во что бы то ни стало надо было выскользнуть из этой западни, но проползти по ярко освещенному полю нечего было и думать.

Кажется, они застряли прочно и надолго. Хорошо еще, что слева попался этот обмежек, словно посланный богом для их спасения,— только он укрывал их от пулеметного огня с пригорка. Но сколько же можно укрываться?

Тем временем все неподвижно и молча лежали, ожидая его решения и его командирского действия. И он решил единственно теперь возможное: заставить замолчать пулемет. Очевидно, лучше всего подползти к нему со стороны фронта, от речки; сделать это, разумеется, с наибольшим успехом мог только он сам. Только одному, в крайнем случае двоим еще можно рискнуть подобраться незамеченными.

— Передайте: старшину — ко мне!

По цепочке быстро передали его команду, и Дюбин приполз, молча лег рядом.

— Вот что. Надо снять пулемет,— сказал Ивановский и, встретив в ответ молчание, пояснил: — Иначе не вылезем. В случае чего возьми карту, поведешь группу.

— Не годится так,— помолчав, сказал Дюбин.— Надо бы другого кого.

— Кого другого? — сказал лейтенант.— Попробую сам.

Лежа расстегнув телогрейку, он достал из-за пазухи смятый, во много раз сложенный лист карты, подвинул ближе к старшине свои лыжи. Пулемет молчал, догорала на снегу настильно брошенная немцем ракета, стало темно и тихо. Но он знал: стоит лишь высунуться из-за обмежка, как немцы снова поднимут свой тарарам; видно, они здесь что-то просматривают.

— Лукашов, за мной,— тихо позвал лейтенант и не оглянулся, знал, что Лукашов не отстанет. В наступившей затем кромешной тьме он с автоматом в руке и тремя гранатами в карманах брюк пополз под обмежком. Надо было торопиться, иначе вся его вылазка теряла смысл. Разумеется, это было не самое лучшее, может, наоборот даже, но другого выхода из затруднения он не находил. Другим было разве что возвращение восвояси, что, впрочем, тоже теперь сделать не просто. Он зло про себя ругался и твердил, разгребая снег: «Ну бей же, бей, гад! Шуми побольше...»

Ему надо было, чтоб пулемет вел огонь. Когда пулемет работает, тогда пулеметчик глух и слеп, тогда бы уж лейтенант как-нибудь подобрался к нему. И пулемет действительно скоро ударил — сразу, как только засветила ракета. Но, к удивлению своему, в первый момент Ивановский не увидел ни одной из его трасс. Короткое недоумение лейтенанта, однако, тут же исчезло — пулеметные очереди уходили в их тыл, в сторону поймы и речки, в то место, где они недавно переползали ее в кустарнике. В этот раз немцы всполошились всерьез и надолго. Над поймой заполыхал настоящий ракетный пожар, вокруг стало светло как днем, на луговину с пригорка неслись, перехлестываясь, сходясь и разлетаясь, густым веером пули; несколько пулеметов из разных мест остервенело секли кустарник. Сначала Ивановский

инстинктивно втиснулся в снег, немногое видя из своей борозды и только напряженно вслушиваясь в густое сверкающее завывание вверху. Но и не глядя, он скоро понял, что это не так себе, что это все Шелудяк. Значит, все-таки заприметили, высветили и теперь расстреливают.

Но, поняв, это, Ивановский вдруг содрогнулся от радостной счастливой мысли: Шелудяк отвлекал огонь на себя, надо немедленно этим воспользоваться. Лейтенант тут же развернулся в снегу, на четвереньках проскочил в голову своей замершей под обмежком колонны, схватил лыжи.

— За мной,— вслух скомандовал он, уже не остерегаясь в этом грохоте быть услышанным немцами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Последние метры до леса они не ползли, а, пригнувшись, устало бежали, пока один за другим не попадали в реденьком низкорослом кустарнике. Распластанные на снегу судорожной горькой одышкой, минуту ошеломленно молчали, не в состоянии вымолвить слова. У каждого в такт с сердцем билась единственная теперь мысль — вроде удалось, прошли, худшее осталось позади. Немцы с пригорка как будто их проворонили. Увлеченные пальбой по луговине, ослепленные сиянием ракет, они, вероятно, не слишком оглядывались по сторонам, пока не расстреляли у реки Шелудяка. «Спасибо вам, дорогие бойцы»,— растроганно думал Ивановский, лежа на снегу и в одышке хватая ртом воздух. Первая плата за его успех была внесена, каков окажется итог? Как бы то ни было, светлая тебе память, боец Шелудяк, посланный на верную гибель, хотя в тот момент

с какой-то подспудной завистью лейтенант думал, что — в жизнь...

Еще не совсем отдышавшись, он приподнялся и сел на снегу. Редкие огненные светляки пуль низали снежные сумерки уже далеко позади, навстречу им летели другие из сосняка за поймой — это вступил в бой батальон. Здесь же, возле кустарника, было спокойно, перед ними лежал голый, не очень заснеженный склон с гривками бурьяна по межам. Ивановский достал часы — было половина десятого.

— Кто стрелял? — сдержанно, с запоздало вспыхнувшим гневом спросил лейтенант, вспомнив тот злополучный выстрел.

Невдалеке среди пластов лежащих тел в белом кто-то заворошился и сел на снегу, по острию, выпиравшему под капюшоном, командир узнал Дюбина — старшина был в буденовке.

— Выстрелил Судник.

— Я выстрелил,— виновато и глухо подтвердил простуженный голос, и Судник расслабленно поднялся на ноги.

— Почему стрелял?

Боец двинул у ноги винтовкой.

— Да вот, с предохранителя соскочила.

Ивановский вгляделся в замотанное бинтом оружие, и его передернуло от злости — у бойца была СВТ, эффектная с виду десятизарядка, сложная по конструкции и не очень надежная в бою. Просто беда, как он перед выходом недосмотрел, разве можно было с таким оружием отправляться в тыл к немцам?

— Черт бы вас побрал! — не сдержав гнева, с тихой злостью заговорил лейтенант.— Что у вас за оружие?

— Винтовка.

— Какая винтовка?

— Самозарядная Токарева номер эн эм шестьсот двадцать четыре.

— «Эн эм!» Вы похуже не могли найти?

Видно, только теперь поняв свою оплошность, боец виновато потупил голову. Лейтенант почти с ненавистью глядел на его придавленную тяжестью вещмешка фигуру, мокрый, обвисший на коленях халат. Однако весь его неказистый вид выражал теперь лишь вину и покорность. Эта его покорность и непрестанно подстегивающее лейтенанта время скоро заглушили вспышку командирского гнева; Ивановский понял, что бесполезно взыскивать с бойца за дело, о котором тот не имел представления. Тем не менее он не мог игнорировать тот факт, что этот Судник едва не погубил всю группу.

— Вы понимаете, что вы наделали?

— Черта он понимает! — вдруг сидя заговорил Лукашов.— Разгильдяй он. Зачем было брать такого?

Судник по-прежнему стоял молча, уронив голову.

— За такое дело вот кокну тебя к чертовой матери! — угрожающе прошептал лейтенант.— Понял?

Голова бойца склонилась еще ниже, но он, видно, решительно не знал, что сказать в свое оправдание, и, похоже, готов был ко всему.

— Ладно. Потом мы с ним потолкуем,— наверно, почувствовав нерешительность в голосе командира, примирительно сказал Дюбин.

— Я еще разберусь с тобой! — пообещал Ивановский и скомандовал: — На лыжи!

Все враз зашевелились, разбирая лыжи и пристегивая к сапогам крепление,— задерживаться тут не годилось. Лейтенант ухватил за концы палки и оглянулся, дожидаясь готовности группы.

— Я б его проучил! Мне он не попался, соп-

ляк,— натягивая рукавицы, ворчал поблизости Лукашов.

— Ладно, все! — громким шепотом оборвал его Ивановский.— Готовы? Судник — за мной! Марш!

Лейтенант резко взял с места, направляясь в прогал кустарника, однако в рыхлом снегу лыжи скользили плохо, проваливаясь в глубокие колеи, из которых торчали лишь загнутые концы. Ветки кустарника цеплялись за маскхалат, срывали с головы капюшон. Наверное, четверть часа лейтенант продирался через кустарник, пока наконец не вырвался в поле. Тут его сразу охватил порывистый ветер, но стало просторнее. Ивановский нащупал лыжами более твердый участок снега и оттолкнулся палками. Взгляд его был устремлен вперед, лейтенант не оглядывался, он слышал шорох лыж сзади и мерное привычное дыхание бойцов. Его гнев против Судника стал понемногу спадать, наибольшая беда миновала, и Ивановский начал свыкаться с тем, что их осталось восемь. Правда, полностью примириться с этим было нельзя, завтра ему очень нужны будут люди, и Судник заслуживал строжайшего наказания. Но как его наказать?.. На гауптвахту здесь не посадишь, придется отложить все до возвращения. К тому же, в общем, им повезло. Если разобраться, так еще неизвестно, как бы оно обернулось, если бы Судник не выстрелил, не ранили Кудрявца и он не отправил с ним Шелудяка, который отвлек на себя огонь немцев. Вполне возможно, что до утра им бы не удалось прорваться из-за того обмежка, а по светлому времени их бы легко расстреляли из минометов. Много ли нужно для десяти человек? А так вот проскочили, и теперь только бы не нарваться в ночи на какие-нибудь тыловые части.

Вскоре на снегу наметился небольшой спуск, лыжи пошли вперед легче, рукам стало свободнее,

и лейтенант оглянулся. Судник прилежно шел следом; за ним, слегка оторвавшись, тянул в сумерках Лукашов. Остальные тоже как будто подравнялись, и в ветреном ночном сумраке слышался сплошной шорох снега под лыжами. Лейтенант еще увеличил темп. Дорога была дальняя, даже слишком дальняя для одной ночи, и очень надо было спешить. Тут он еще помнил маршрут, изученный накануне по карте, и знал, что скоро опять пойдет пойма все той же речушки. Далее и следовало все время ее держаться.

После кустарника бойцы вошли в ритм, и группа споро двигалась в серых ночных сумерках. Беззвездное небо сплошным пологом накрыло зимний простор, в котором тускло темнели размытые пятна кустарников, деревьев, бурьяна и множество еще чего-то неясного и загадочного. Ракеты на передовой светили далеко сзади, отсюда видны были лишь их мигающие отсветы за пологим холмом.

Постепенно Ивановский стал успокаиваться — хотя и не совсем гладко, но поначалу вроде бы обошлось: они прорвались. Правда, все время не выходил из головы Шелудяк, так несуразно с ним вышло, пожалел, называется. Наверное, пригодился бы завтра, все-таки сапер и пожилой человек, не какой-нибудь несмышленыш, как этот Судник. Да, с саперами ему не повезло, хотя больше других были нужны именно саперы. Но тут ничего не поделаешь. В то время как группа лежала в свете ракет, казалось, вернул бы назад половину, лишь бы другая половина прорвалась.

А теперь вот обидно и жалко.

Лейтенант уже слишком хорошо знал, что далеко не все в жизни получается так, как надо, тем более на войне. Чтобы не остаться в накладе, порой приходится из последних сил добиваться намеченной

цели, до последней возможности драться против коварной силы обстоятельств, иначе провалишь дело и пропадешь сам. Вообще война беспощадна ко всякому, но первым на фронте погибает трус,— именно тот, кто больше всех дорожит своей жизнью. Впрочем, достаточно гибнет и храбрых. Война удивительно слепа к людям и далеко не по заслугам распоряжается их жизнями. Как нигде в мирной жизни, здесь изменчива и капризна судьба человека, которому, чтобы жить, ни на минуту нельзя выпускать из рук тугих вожжей обстоятельств, при любых, самых невозможных условиях надо стараться управлять ими.

Горечь от первой и довольно нелепой утраты не оставляла Ивановского. Ненадолго лейтенант забывался, поглощенный ночными заботами, но она опять возвращалась щемящей, слишком знакомой на войне болью. И сколько он ни переживал ее за пять месяцев, эту раздирающую сердце боль, и какой бы обыденной она порой ни казалась, совершенно привыкнуть к ней было нельзя. Скольких уже он потерял навсегда за это время войны, думалось, пора бы уж и привыкнуть к самим потерям и свыкнуться с сознанием их неизбежности. Но, как ни привыкал, нет-нет да и находило на него такое отчаяние, что, казалось, лучше бы подставил под ту роковую пулю собственную голову, какой дорогой она ни была, чем навсегда укладывать в могильную глубь близкого тебе человека.

А своего лучшего друга, разведчика капитана Волоха, он даже не смог закопать. Просто у них не нашлось лопаты и каких-нибудь пятнадцати минут времени — от шоссе уже мчались на мотоциклах немцы. Отстреливаясь, они с Погребняком завернули тело капитана в палатку и наспех забросали ее перемешанной со снегом листвой. Так и остался их

командир на лесной опушке того далекого смоленского урочища. А следующего за ним, сержанта Рукавицына, даже не удалось унести с пригорка, на котором его настигла пуля, и спустя десять минут его там подобрали немцы.

Вообще Ивановскому везло в войну на хороших людей, и самым большим везеньем был, конечно, капитан Волох. Каким-то необъяснимым чутьем лейтенант понял это сразу, как только увидел его на подернутой утренним туманом просеке в Боровском лесу. Стоя на коленях, капитан что-то вытряхивал из карманов в брошенную на мох фуражку, рядом лежала разложенная карта, а вокруг сидели и лежали его разведчики. Все были в зеленых маскировочных халатах со снятыми капюшонами и в пилотках, лишь у одного капитана была фуражка, по которой лейтенант безошибочно признал в нем командира и, подойдя, отдал честь.

— Товарищ командир, разрешите обратиться.

— Пожалуйста,— запросто, без тени командирской строгости улыбнулся капитан.— Обращайтесь, если есть с чем. А то у нас вот одна пыль.

Видно, он не прочь был пошутить и, может, даже угостить махоркой, но махорка у него вся вышла, как вышла она и у лейтенанта. Правда, лейтенанту теперь было не до курева, он бы больше обрадовался сухарю или куску хлеба, так как два дня почти ничего не ел. После разгрома в ночном бою под Крупцами он отбился от полка, попал в окружение, выйдя из которого, с двенадцатью бойцами плутал по лесам в поисках своей части. Но нигде он не мог набрести хотя бы на остатки полка или даже дивизии, иногда попадались бойцы из неизвестных ему частей, но никто ничего толком не знал, в прифронтовой полосе все смешалось, перемешались и наши и немцы. Еще через день вокруг остались одни толь-

ко немцы, он всюду натыкался на них самих или на свежие следы их пребывания и неделю метался по перелескам в поисках какого-нибудь выхода. У него не было карты, и совершенно неясной была обстановка, встреченные в пути красноармейцы давали самые противоречивые сведения. Ясно было одно — наши отошли далеко, немцы устремились к Москве. В нескольких случайных стычках он потерял еще троих человек, двое исчезли в ночи: может, отбились в темноте и пристали где к другим группам, а может, и того хуже. С ним осталось лишь четверо, они забрели в какую-то лесную глухомань, где уже не было ни немцев, ни наших, и вдруг эта случайная встреча с группой разведчиков на лесной просеке.

Капитан все-таки что-то натряс из карманов и свернул тоненькую куцую цигарку. Остальные молча и, как показалось лейтенанту, с затаенной грустью наблюдали за своим командиром.

— Как зажигалка, цела? — спросил капитан, вправляя в синие брюки вывернутые карманы.

— Какая зажигалка? — удивился Ивановский.

И вдруг он все вспомнил.

Действительно, месяц назад под Касачевом, где они стояли тогда в обороне, как-то перед рассветом начальник разведки полка привел на батарейный НП незнакомого командира в фуражке и с орденом Красного Знамени на габардиновой гимнастерке. Как чуть рассвело, они стали что-то рассматривать в стереотрубу на немецкой стороне, что-то отмечая на карте. Потом вместе позавтракали. Капитан еще угостил Ивановского «Казбеком» и, прикуривая, обратил внимание на его трофейную зажигалку — фигурку буддийского монаха. Зажигалка действительно была занятная: при легком нажатии на пружину у монаха отскакивала часть черепа и появлялся огонек пламени.

Зажигалка оказалась цела, теперь Ивановский достал маленькую черную фигурку, большим пальцем нажал на пружину. Но в этот раз огонек не появился, наверно, вышел бензин.

— Забавно, забавно,— сказал капитан.— Жаль, курить нечего.

— У нас тоже ни табачинки,— сказал Ивановский.

Их лица стали серьезными, капитан натянул на плечи свою изодранную куртку. В ощущения враз ворвалась невеселая фронтовая действительность.

— Давно бедствуете? — спросил капитан.

— Да вот с семнадцатого. Как смяли тогда под Касачевом.

— Ясно. Что ж, пойдем вместе. Вот тут на моей карте обозначен стык, сюда и попробуем сунуться.

Они пробирались еще четверо суток, но никакого стыка в немецкой линии фронта не обнаружили, как, впрочем, не обнаружили и самого фронта. Стояла глубокая осень, листва на деревьях вся облетела, после холодных затяжных дождей наступила ранняя промозглая стужа. Дороги были забиты обозами, автомобилями и вездеходами наступающих и тыловых немецких частей. Бойцы устали от многодневной ходьбы по бездорожью, от голода. Некоторых начала донимать простуда, кашель. Лейтенанта не переставали мучить чирьи по всему телу. А потом в группе появился раненный в ногу разведчик, который не мог идти сам, и они по очереди несли его на самодельных, изготовленных из жердей и плащ-палатки носилках. По этой причине они не могли идти быстро, но командир не хотел оставлять разведчика. Это был действительно ценный разведчик, свободно говоривший по-немецки, голубоглазый и светловолосый атлет по фамилии Фих. Ранило его случайно, когда они днем заскочили в деревню, чтобы расспросить о до-

роге и разжиться чем-нибудь из еды, и уже в самом начале улицы напоролись на немцев. Первого вышедшего из двора немца капитан свалил ударом ножа в шею. Это оказался офицер, и Волох по старой привычке разведчика первым делом схватился за его полевую сумку. Но следом за офицером шли еще двое, один из них выстрелил из пистолета и угодил Фиху в бедро. Хорошо, Балаенко дал очередь, немец упал, и они все бросились наутек, подхватив раненого, который после этого выстрела не сделал уже ни одного шага по земле. Наверное, немецкая пуля повредила у него какой-нибудь важный нерв, нога обвисла, как плеть. К тому же началось какое-то осложнение, поднялся жар. Длительные переходы причиняли неимоверные страдания раненому, повязка все время сбивалась, рана кровоточила; Фих, сжав зубы, страдал, все больше мрачнел и уходил в себя.

Так прошло несколько дней.

Однажды они остановились передохнуть на заросшем дубняком пригорке. Лиственный лес весь уже стоял обнаженный, лишь корявые низкорослые дубки продолжали шелестеть на ветру своей сильно пожухлой, но еще по-летнему густою листвой. Здесь было относительное затишье, дубняк надежно укрывал их от чужих глаз. Как только остановились, разведчики попадали наземь, с молчаливой отрешенностью на изможденном лице лежал на носилках Фих. Волох сидел возле и соломиной задумчиво колупал в зубах. Есть было нечего, курить тоже. Двое разведчиков ушли на поиски жилья, чтобы раздобыть какой-нибудь кусок хлеба для раненого.

— Слушай, Фих,— вдруг сказал капитан.— Ты не беспокойся, мы тебя не оставим. Мы тебя вынесем, и все будет ладно. Главное — не падай духом.

— Отдайте мой пистолет,— слабым голосом протянул Фих.

Два дня подряд он непрестанно требовал свой пистолет, который, заподозрив неладное, у него вынул из кобуры Волох. Теперь всякий разговор с раненым начинался и кончался его требованием вернуть пистолет.

— Ну вот, ты опять за свое! Отдам я тебе пистолет. Но сначала надо тебя донести до своих.

— Отдайте мой пистолет! Зачем взяли? Зачем эти заботы? Для оправдания вашей совести? Плюньте, капитан...

Уговорить его было невозможно, капитан понимал это и особенно не уговаривал. Их положение не оставляло места иллюзиям, да они и не нуждались ни в каких иллюзиях. Безнадежность состояния Фиха была очевидной как для него самого, так и для всех восьмерых в группе, включая старого его дружка сержанта Рукавицына, всю дорогу выхаживавшего раненого как только было возможно. Беда, однако, состояла в том, что возможности его были весьма ограниченны. Фих таял на глазах, и Рукавицын, по существу, ничем не мог ему пособить. С убитым видом он сидел над товарищем и грязным платком вытирал холодную испарину с его бледного лба.

— Да-а, дела,— сказал капитан.— Что же нам с тобой делать?

Вопрос был почти риторический, никто не мог и не пытался на него ответить. Впрочем, капитан и не ждал ответа, он просто размышлял вслух. Однако на этот раз долго размышлять ему не пришлось — вернулись двое разведчиков и сообщили, что деревень нигде нет, а обнаруженная поблизости сторожка стоит пустая, ничем съестным поживиться там не удалось. Но на обратном пути разведчики видели, как по дороге в соседний лесок одна за другой шли груженые немецкие машины, которые быстро там разгружаются и налегке возвращаются прежней доро-

той. По всей видимости, в лесок перебазируется какой-нибудь крупный немецкий склад.

Они, разумеется, знали, что склады могут быть разные: с фуражом, боеприпасами, горючим, вещевым, инженерным или даже химическим имуществом. Но могут быть также и с продовольствием. Наверно, вероятность последнего предположения показалась изголодавшимся бойцам наибольшей, и капитан живо вскочил на ноги.

— А ну где? Далеко?

— Да километра два отсюда.

Они снялись с места и скоро прошли дубнячок, потом обошли по краю овражек, перешли мокроватую луговинку, снова вошли в колючий густой кустарник, на выходе из которого по команде Волоха все разом замерли. Сквозь чащу ольшаника было видно, как по ухабистой, разбитой дороге в редкий сосновый лесок тащились тяжело груженные семитонные «бьюссинги», где-то там они разгружались и скоро бежали вниз, наверно, за новой партией груза. Капитан сразу сел, где стоял, достал из-за пазухи бинокль. Разведчики опустили наземь носилки с Фихом.

— Ух ты, что там наворочено! Вот это да! — удивился капитан.— Проволокой обносят, так, так. А подходы, в общем, хорошие. Вот бы, когда стемнеет... На-ка, прикинь,— сказал он, передавая бинокль Ивановскому. Лейтенант, отыскав в голых ветвях прогалину, направил на лес бинокль. Отчетливо было видно, как там разгружали машины. Работали, кажется, пленные, в некотором отдалении от них маячили темные фигуры в длинных шинелях с винтовками в руках. Под высокими редкими соснами на пригорке вытянулись длинные ряды каких-то громоздких зеленых и желтых ящиков. Несколько ранее сложенных штабелей были укрыты брезентом.

— Интересно, что? — рассуждал капитан.— Но все равно. Устроим фейерверк на всю Смоленщину. Рукавицын, у тебя противотанковая граната цела? Хорошо. А тол ты еще не выбросил, Погребняк? Ракеты надо приготовить тоже. Пригодятся.

Он тут же, в ольшанике, наскоро изложил свой план нападения на склад, распределил обязанности между горсткой усталых, голодных людей. Присматривать за раненым поручил сначала двоим, а потом только одному Рукавицыну. Своим заместителем назначил его, Ивановского. Решили выступать, как только стемнеет.

— Веселенькая будет ночь! — радовался капитан, потирая озябшие руки.— Закурить бы теперь, да нечего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наверно, лучше будет взорвать. Под проволокой протащить заряд со шнуром, подложить под штабель. Часового отвлечь куда-нибудь в сторону. Как это сделать — Ивановский знал, когда-то учил капитан Волох. Есть несколько способов. Лучше бы, разумеется, вовсе снять часового, но, если объект большой, часовых будет несколько, всех не снимешь.

Так размышляя, Ивановский небыстро спускался на лыжах с неприметного в ночи пригорка. В снежной темени вообще не рассмотреть было, где пригорочек, а где ложбина, он лишь чувствовал это по весу лыж на ногах, которые то вдруг тяжелели, и появлялась надобность помогать себе палками, то бежали по снегу охотнее.

Ивановский все время держал на юг, изредка проверяя направление по компасу. Справа в туман-

ной мгле, то приближаясь к лыжне, то удаляясь от нее, петляла речушка, которую он узнавал по неровному шнурку кустарника на берегу. Слева к ней сбегали окончания невысоких пригорков, которые то и дело приходилось пересекать лыжникам.

Съехав с очередного пологого склона, Ивановский остановился. Лыжи затрещали в каких-то сухих бодыльях, и лейтенант поглядел в сторону, чтобы обойти их. Сзади по одному приближались и останавливались его бойцы.

— Ну как? — спросил он на полный голос. Здесь, кажется, уже никто не мог их услышать.

— Угрелись, лейтенант,— тяжело дыша, ответил, подъезжая, Лукашов; белый, заметный даже в ночи пар валил от его грузной фигуры. Судник схватил горсть снега и, подпершись палкой, стал жадно есть. Скоро подъехали Хакимов и Краснокуцкий; еще кто-то спускался по склону.

— Дюбин! — позвал лейтенант.

— Идет, кажется,— не сразу отозвался голос из сумерек, и он подумал, что, если замыкающий тут, значит, все в сборе, можно двигаться.

— Как бы передохнуть, товарищ командир? — с ноткою жалобы спросил Краснокуцкий.

Ивановский вынул часы. Большая стрелка приближалась к двенадцати, малая уже достигла часа.

— Отставить отдых,— сказал лейтенант.— Мы опаздываем.

— Уже поджилки дрожат.

— Втягивайтесь, втягивайтесь. Потом легче будет. Так, за мной марш!

Он боялся отдыхом расхолодить бойцов, по себе знал, как трудно после привала опять набирать прежний темп. Важно было выдержать заданную скорость на протяжении всей ночи, может, даже при надобности увеличить ее. Он знал: скоро должно

появиться второе дыхание, и тогда всем станет легче...

Но усталость брала свое, и лейтенант все чаще стал замечать, что взгляд его упрямо клонился к земле и перед глазами начиналось однообразное мелькание лыжных носков. Однажды, с усилием оторвав взгляд от снега и вскинув голову, он обнаружил впереди что-то мрачно-серое, похожее на высокую стену леса. И в самом деле это был лес — преградив им путь, тревожно и тягуче шумели на ветру высокие сосны. Ивановский слегка удивился — на карте в здешних местах не значилось никакого леса, тем более хвойного; он подумал, что, может, потерял направление, и стал поспешно сверяться с компасом. Но нет, все было верно, направление он держал, как и полагалось, точно в двести десять градусов, но почему тогда лес? И как с ним поступить — пройти насквозь, не меняя маршрута, или обойти? И в какую сторону обходить?

— Что, лейтенант, перекур? — спросил Лукашов сзади. Почему-то он подошел раньше Судника, который приотстал так, что едва угадывался в сумерках. Это нарушало установленный им порядок на марше, и у Ивановского вырвалось:

— А почему вы тут?

— Так вон сапер... Надоело на пятки наступать.

Кажется, его лыжники стали растягиваться, это уже никуда не годилось; лейтенант полагал, что по готовой лыжне можно бы идти исправнее. Он упрятал компас в рукав и, напряженно соображая, как поступить с лесом, ждал, когда подойдут остальные.

Спустя пять или даже десять минут подошли Хакимов и Краснокуцкий, остальных не было. Теряя терпение, он подождал еще.

Уставшие лыжники, едва остановившись, наваливались грудью на концы воткнутых в снег палок:

так отдыхали. Все трудно, прерывисто дышали и хватали руками снег.

— Скоро ли, товарищ лейтенант? — упавшим голосом спросил Краснокуцкий.— Знаете, силы уже не тае...

— Где остальные? — вместо ответа встревоженно спросил лейтенант.

— Да идут. Заяц, наверно, отстал. Ну и старшина там с ним нянькается.

— А Пивоваров?

— Да вон идет кто-то.

Из снежной тьмы, затканной густеющей на ветру крупой, выскользнула еще одна белая тень. Это был Пивоваров.

— Где остальные? — спросил лейтенант.

— Не знаю. Сзади никого вроде,— бодро ответил боец.— Я там с креплением провозился...

— Ладно. Пошли.

Лейтенант не мог больше ждать. Старшина не новичок в подобных делах, он не должен отстать. Опять же на снегу ясно видна наезженная лыжня, пусть догоняет. И лейтенант свернул вправо, вдоль боровой опушки, в обход леска. Лезть в него напрямик он не решился, чтобы где-нибудь невзначай не набрести на овраг или бурелом, а то и просто не застрять в чащобе. Все-таки на лыжах ночью по лесу идти не годилось.

Но он не знал и как обойти его и брел наугад вдоль неровной извилистой опушки, повторяя лыжней все замысловатые ее извилины. Шли гораздо осторожнее, чем в поле, под соснами в зарослях молодняка все время что-то мерещилось, казалось, какие-то тени, фигуры людей. Но приблизившись, он всякий раз обнаруживал, что это были молодые сосенки.

Между тем ветер усиливался, теперь он почти все

время дул навстречу. Тонкая бязь маскхалата пузырилась на спине, порой хлопая, словно парус. Лейтенант почувствовал, как у него заметно поубавилось прыти, а с ней убыло и уверенности в правильности его направления. В остальном он не сомневался. Он то делал энергичный рывок, то вдруг переходил на умеренный шаг, с большей, чем следовало, осторожностью оглядываясь по сторонам. Время от времени он прислушивался к звукам сзади, стараясь определить, не догоняют ли их отставшие Заяц с Дюбиным.

Но Дюбин все не нагонял их, а лес внезапно оборвался, они наконец достигли западной его оконечности. Далее хвойная опушка сворачивала на юг и, закругляясь, отступала куда-то к юго-востоку. Этого только и ждал Ивановский. Он даже вздохнул с облегчением и, остановившись, вогнал в снег палки: надо было сориентироваться с картой.

— У кого там?.. Пивоваров, у вас палатка?

— У меня, товарищ лейтенант.

— Давай сюда.

Не сходя с лыж, Ивановский присел на снегу, Пивоваров тщательно накрыл его плащ-палаткой — сделалось необычайно темно после мелькающей белизны снега и тихо. Слабым пятнышком света из фонарика лейтенант повел по измятому листу карты. Все стало ясно..

Река здесь делала большой изгиб в сторону, потому он потерял ее в темени и наткнулся на лес. Но вряд ли была такая надобность следовать ее речной прихоти, наверно, разумнее было взять сразу на юг и тем срезать порядочный крюк. Правда, без реки труднее будет сориентироваться в ночи, тем более что карта допускала неточности. Сосновый лес, который они обошли, вовсе не был обозначен на ней, топографы ограничились лишь нанесением здесь мелких кружочков, обозначавших кустарники. Ког-

да-то это, может, действительно было кустарником, а теперь вон какой лес вымахал, разросся на добрых два километра в длину и едва не ввел его в заблуждение.

Поняв, где находится, лейтенант сбросил с себя палатку.

— Старшины нет?

— Нет еще. Может, подождем? — спросил Лукашов.

Пристально, с последней надеждой Ивановский вглядселся в ночь, вслушался, но сзади никого не было. Продолжительное отсутствие старшины начало всерьез тревожить, появились разные нехорошие предположения, но он гнал их, стараясь сохранить уверенность, что Дюбин догонит. Теперь же надо было двигаться дальше и нужен был замыкающий. Старшим в группе по званию после командира был сержант Лукашов, и лейтенант решил:

— Лукашов, пойдете замыкающим. И чтоб никаких отставаний! Поняли?

— Понятно,— твердо ответил сержант, соступая с лыжни, чтобы пропустить мимо себя остальных.

— Вперед! Еще пару рывков — и мы у цели.

...Тогда они тоже были почти у цели.

Еще не стемнело, как на влажную землю начал падать мокрый снежок. Было тихо. Сначала он шел реденький, пушистый — красивые ажурные снежинки картинно кружились в воздухе, плавно оседая на землю. Затем снегопад начал усиливаться и к вечеру повалил мокрыми хлопьями, повисая на ветках, густо облепляя головы, плечи, рукава бойцов. Разведчики терпеливо сидели в кустарнике и ждали. За несколько часов неподвижности все сильно продрогли. Раненого Фиха укрыли мокрой плащ-палат-

кой, и он тихо стонал под ней в забытьи. Перед самыми сумерками Волох и еще один разведчик, сержант Балаенко, отправились понаблюдать за складом: из кустарника уже мало что было видно.

Четверть часа спустя запыхавшийся Балаенко прибежал к группе: капитан приказал Фиха с одним разведчиком оставить в дубнячке, а остальным выдвигаться на опушку. Они вскочили и вскоре прибыли к своему командиру. До склада отсюда было рукой подать, но снегопад и наступившие сумерки неплохо скрывали их. Сосредоточенный капитан решительно объявил, что действовать начнут сейчас же, не дожидаясь ночи, когда бдительность часовых еще ослаблена не улегшейся дневной суетой. Никто не возразил командиру, разведчики внимали каждому его слову и все исполняли молча и в точности. Ивановскому же в этой диверсии все было ново и необычно, он целиком полагался на капитана и тоже старался поточнее выполнять все его команды.

— Как раз кстати снежок,— сказал лейтенант, устраиваясь подле Волоха.

Тот повернул недовольное, озабоченное лицо.

— Не очень-то кстати. Нас не видать, но и мы ни черта не видим.

Трудно было угадать, как лучше, однако снег не переставал, и капитан решил действовать. Четверых с трофейным пулеметом МГ под началом Ивановского он оставил на опушке с задачей прикрытия на случай неудачного отхода, а сам с двумя разведчиками, забрав гранаты, отправился к рощице. Никакого прощания не было, просто Ивановский проводил их несколько задержавшимся взглядом, пока все трое один за другим не исчезли в сгустившихся, мельтешащих сумерках. Тихонько зарядив пулемет, он остался ждать на опушке.

Какое-то время впереди было темно и тихо, мед-

ленно тянулись минуты тягостного, напряженного ожидания. Мысленно Ивановский следовал за капитаном, живо представляя себе, как тот преодолевал открытый участок поля, подходил к опушке. Наверно, потом он остановится, чтобы осмотреться. Но что это?..

Из ветреной снежной тьмы вдруг донесся какой-то странный крик, за ним следом — второй, и, прежде чем Ивановский успел сообразить что-либо, круша все сомнения, бабахнул близкий винтовочный выстрел. Тут же вспорхнувшая над верхушками сосен ракета немного осветила на белой земле — снегопад густо заткал ночное пространство, но Ивановский понял: замысел капитана сорвался.

Наверное, надо было прикрывать отход, может, отвлечь огонь на себя, но он не знал, где капитан и почему тот ни единым выстрелом не ответил на огонь часовых. Однако, когда откуда-то от дороги вдоль опушки рощи стеганули трассирующие пулеметные очереди, он не сдержался и ударил из МГ навстречу, наугад, в то место во тьме, где возникали эти светящиеся трассы. Он с нетерпением ждал появления Волоха и выпустил лишь одну очередь по немецкому пулеметчику — у них маловато было патронов, всего одна лента, надо было экономить. Он ждал, что вот-вот три знакомых силуэта вынырнут из темноты, и тогда они пустятся прочь от этой проклятой базы. Но шли минуты, а из темноты никто не выскакивал, и лейтенант вынужден был ждать. Рядом в снегу лежал его боец Толкачев; окликнув его, Ивановский махнул в сторону рощи, и тот, вскочив, послушно побежал в затканное снегопадом поле.

Ракеты над рощей горели не переставая, фланговые трассы неслись куда-то в определенное место, наверно, немецкий пулеметчик знал, куда метил. Ивановский с колена еще выпустил очередь наугад,

и тогда весь этот недалекий край рощи загрохотал выстрелами — похоже, охрана заняла оборону и всерьез отражала нападение. Не мешкая, следовало отходить. Но капитана все не было, и недоброе предчувствие сдавило Ивановскому горло.

Он сразу заметил чье-то появление в поле, в неверном мерцающем свете ракеты сквозь снег впереди мелькнула шаткая тень; в то время как другая упала, эта мгновенно выросла до гигантских, на все поле, размеров; облетая ее, с двух сторон на опушку неслись пулеметные трассы. В несколько прыжков тень, однако, достигла опушки, и сквозь шум стрельбы Ивановский услышал:

— Капитана убило!

— Стой! — крикнул он и вскочил сам.— Стой!

Это был боец Фартучный, в общем неплохой разведчик, может, даже больше других любимый капитаном Волохом, но теперь, охваченный непонятным испугом, он сломя голову мчался из-под огня. Сообщенная им весть о несчастье, однако, не могла сразить лейтенанта, тот ничего хорошего уже не ждал; правда, чтобы погиб капитан Волох, он не мог себе даже представить.

— Стой! Назад!

Сам он, подхватив пулемет с тяжелой, свисавшей до самого снега лентой, бросился в поле. Осклизаясь на присыпанных снегом неровностях, минуту бежал в ту сторону, откуда появился Фартучный. Не оглядываясь, он знал, что Фартучный вернется и побежит за ним, иного не могло быть. Ракеты светили, казалось, со всех сторон, Ивановский уже не скрывался от них и с короткой остановки запустил длинную очередь по опушке рощи, чтобы вынудить немцев поберечься, залечь. В этот момент Фартучный проворно обогнал его и тотчас скрылся впереди за снежной завесой.

Ивановский тоже вскочил с колена, чтобы бежать за бойцом, но при свете вспыхнувшей над полем ракеты увидел несколько близких теней, которые, пригнувшись, бежали от дороги вдоль складской изгороди. Испугавшись, что они перехватят Фартучного, он второпях запустил по ним последней своей очередью и, когда опустевший конец металлической ленты выскочил в снег, бросил ставший ненужным ему пулемет и выхватил из кобуры ТТ. Но он уже увидел своих — двое, пригнувшись, с усилием волокли третьего. Не дожидаясь, пока потухнет ракета, он подбежал к ним.

— Жив?

— Где там! Убит! — крикнул Фартучный.— Проклятый часовой! Надо же...

Отстреливаясь, они изменили направление, долго бежали в кустарнике и, лишь уйдя километра на три, в каком-то леске перевели дыхание. Капитан был убит наповал, нести его с собой не имело смысла, и они, торопливо разрыхлив ножами мокрую, с листвой землю, выгребли ямку и кое-как присыпали в ней командира. Пропал также один из разведчиков, уходивший с Волохом; было неизвестно, то ли он тоже убит там, то ли, может, отбился куда в сторону. Но ждать они не могли, с каждой минутой сзади могла появиться погоня, уйти от которой с раненым Фихом было непросто.

Проклиная злосчастный склад и их сегодняшнее невезение, Ивановский повел маленькую группу на север — прочь от этой злополучной рощи, полыхавшей в ночи ракетами, отсветы которых еще долго сопровождали бойцов. На душе у лейтенанта было муторно, то и дело подступала злость и донимало отчаяние. Нет, он не осуждал капитана, наверное, сам на его месте поступил бы так же. Но было до слез обидно, что нелепая слепая случайность так

здорово пособила немцам. Не наткнись в снегопаде Волох на часового, наверно, все бы вышло по-другому...

Значит, надо осторожнее. Надо действовать во сто крат осмотрительнее, тем более ему, Ивановскому, который теперь был ответствен не только перед самим собой...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Миновав лес, лейтенант опять вывел группу на равнинную приречную пойму, и лыжники утомительно долго шли по прямой, никуда не сворачивая. Здесь уже не было ни подъемов, ни спусков, лыжня шла ровно, по глубокому снегу, и Ивановский все время с заметным усилием налегал на палки. Лыжи в рыхлом снегу зарывались глубже, чем следовало для быстрой ходьбы, скольжение было неважным. Прокладывая лыжню, командир брал на себя наибольшую в данном пути нагрузку и где-то к полуночи почувствовал, что стал выдыхаться. На нем уже все было мокрым, белье не просыхало от пота, горячее дыхание распирало грудь, стала донимать жажда. Но он не хотел есть снег, знал: влага обернется излишним потом, а это лишь уменьшит выносливость и никак не прибавит сил, которых ему понадобится еще ой как много.

Быстро шло время, а Дюбин все не догонял группу, и лейтенант терялся в догадках: что с ним случилось? Но, видно, надо перестать о нем думать — если не догнал раньше, то теперь не догонит: они отмахали половину пути, если не больше. У лейтенанта всякий раз сжималось сердце от мысли, что их становилось все меньше. Еще не дошли до места, а уже четверых не стало. Но он не мог, не имел те-

перь права терять время на поиски или ожидание.

Ивановский намеренно редко поглядывал на часы, он начал бояться неуемного хода времени и все свои силы вкладывал в бег, стараясь не очень отвлекаться на прочее. Наверно, по этой причине он как-то не сразу заметил, что значительно усилился ветер, у ног закрутила поземка, кажется, начал идти снег. Несколько сильных порывов ветра так стеганули снежной крупой по лицу, что лейтенант задохнулся. Вокруг стало темней и глуше. И без того узкое ночное пространство еще сузилось, растворилось в серых ненастных сумерках. Ночных пятен по сторонам значительно убавилось. А тут еще и ветер ударил снегом в лицо, похоже, начиналась вьюга. «Не вовремя»,— тревожно подумал лейтенант, сильнее заработав палками. Лыжи его уже совсем утопали в снегу, выставляя на поверхность лишь острия загнутых носков. Стараясь выдерживать направление, Ивановский почти не глядел вниз на снег, надо было как можно дальше видеть в ночи, в этом состояла одна из его обязанностей направляющего. Другие наблюдали по сторонам, замыкающий Лукашов отвечал за безопасность с тыла. Разумеется, в этой темени легко было напороться на немцев, но больше, чем неожиданной встречи с ними, он боялся опоздать. Метель или вёдро, а к утру, еще затемно, они должны быть на месте. Днем им там делать нечего.

Но, видно, река опять ушла в сторону, впереди засерело что-то громадное, неровным туманным бугром проступившее из тьмы. Вьюга вовсю гуляла над полем, и сквозь нее невозможно было определить, что это такое. Тем не менее оно было как раз на пути группы, Ивановский понял это сразу. Он теперь чаще, чем прежде, прикладывался к компасу, выверяя маршрут. Сзади ни на шаг не отставал Судник, держались поблизости и остальные.

То, что еще издали привлекло их внимание, вблизи оказалось какой-то постройкой — окраинной усадьбой деревни или каким-нибудь хутором. Соблазнительно было завернуть туда хотя бы напиться, но Ивановский, поняв, что́ перед ним, сразу взял в сторону, в обход. Он суеверно боялся всего, что могло отвлечь их от главного теперь дела и отобрать время.

В ненастье завьюженного пространства трудно было определить, на каком расстоянии от них был этот хутор. Всего какую-нибудь минуту он темнел в стороне и уже готов был исчезнуть, как сквозь метель откуда-то донесся крик. Лейтенант не сразу понял, кто и даже на каком языке кричит, но затем от построек послышался лай собаки. Не ожидая ничего хорошего, Ивановский сильно оттолкнулся палками, делая решительный рывок в сторону, и тотчас ветреную тишь ночи разорвала приглушенная вьюгой пулеметная очередь. Трассирующие светляки пуль прошили сумерки над головой, чиркнули по самому снегу и унеслись прочь. Вздрогнув от неожиданности, лейтенант пригнулся и изо всех сил рванул дальше, вперед в темень. Откуда-то сбоку сквозь вьюгу вдруг вспыхнул свет, снежинки густо забелели в его неярком пятне, но это не была ракета — скорее, где-то включили фары. И снова в воздухе пронеслись огненные жгуты пуль — густая, длинная очередь с широким рассеиванием прошлась по полю. Лейтенант оглянулся на лыжников — Судник, как и всегда, держался вплотную; за ним, пригибаясь, быстро шли остальные. Неяркий дальний свет фар все-таки заметно подсвечивал поле, вырывая из серой тьмы белые силуэты людей; с хутора, наверно, их можно было заметить. Когда совсем близко снова засверкали трассы, он негромко крикнул: «Ложись!», почему-то больше всего испугавшись за ношу Судника, и сам

мягко упал на бок. Но он опоздал. Лежа в снегу, он уже чувствовал, что ранен, ногу коротко обожгло выше колена, теплая мокрядь начала расплываться в брюках. Но особенно сильной боли он не почувствовал, сжав зубы, подвигал ногой — вроде терпимо. Рядом, трудно дыша, втиснулся в снег Судник.

— Бутылки! Бутылки береги! — громко шепнул он бойцу, опять с необычайной отчетливостью понимая, что, если попадут в бутылки, все они тут же погибнут. Судник лежа стащил со спины вещмешок, вмял его в снег, прикрывая собой опасную для всех ношу. Четверть часа они, замерев, лежали в снегу.

Как только трассы погасли, лейтенант сделал попытку вскочить на ноги и, к радости своей, обнаружил, что нога слушается. Пригнувшись на лыжах, он снова рванул в ночь — изо всех сил в сторону от очередей и слепящего света фар. Хорошо, порывы ветра со снегом все-таки скрывали их даже в подсвеченном дальним светом пространстве, и он проскочил еще метров сто. Хутора уже вовсе не было видно, фары, помигав вдали, как-то потускнели, но по-прежнему светили сюда. Новая очередь прошила темноту сзади, но ее трассы ушли далеко в сторону.

Кажется, они вырвались из самой опасной зоны. Лейтенант спохватился, что оторвался от своих, оглянулся. Сзади кто-то нерешительно копошился в сумерках, но не догонял — по-видимому, они сбились с его лыжни. Тогда он придержал лыжи, присел, тихонько окликнул бойца и медленнее, чем прежде, заскользил в темноту, прочь от этого проклятого хутора.

Скоро он наткнулся на опушку леса или кустарника и остановился: надо было собрать бойцов. Нога болела все больше, но боль пока была терпимой, видимо, пуля задела лишь мякоть. Хутор молчал. Совсем рядом темнел голый, засыпанный снегом кустарник,

в котором чернели молодые елочки — в случае чего там можно было укрыться.

Ивановский не переставал удивляться бдительности немцев. Хотя, кажется, выдали его собаки. Глупые псы, разве они знали, на кого лаяли. Впрочем, было бы хуже, если бы он вовремя не отвернул от этого хутора. Все-таки они его обошли, хотя, повидимому, и не настолько далеко, чтобы их не заметили. А теперь что же делать? Он чувствовал быстро усиливающуюся боль в ноге, в брюках стало совсем уже мокро, намокла даже портянка в сапоге, надо было перевязать. Но он молчал и не двигался — он ждал, пока подойдут остальные.

Первым из темноты неожиданно вынырнул Судник, потом появилась тонкая фигура Пивоварова; несколько позже, пригибаясь и размашисто работая палками, примчались из метели еще двое. Все остановились возле командира и настороженно оглядывались назад. Порывистый ветер крутил в воздухе редкой снежной крупой, осыпая ею лыжи, маскхалаты, лица бойцов.

— Кого еще нет? — тихо спросил лейтенант.

— Хакимова нет,— сказал Лукашов, не оборачиваясь. Все вглядывались в сторону злополучного хутора.

— Сволочи! И как они учуяли? Кажется, так тихо шли,— выругался Краснокуцкий.

— Вот еще бедствие — псы эти. Добро бы немецкие, а то, поди, наши, русские.

— Под немцем все псы немецкие. Тут они нам не товарищи.

Лейтенант едва стоял, расслабив раненую ногу, и молчал. Он все более мрачнел, сознавая свое положение и тревожась из-за продолжительного отсутствия Хакимова. Было совершенно ясно, что эта задержка им дорого обойдется, но и оставлять бойца

он тоже не мог. И лейтенант после недолгого ожидания спросил Лукашова:

— Где он исчез? Когда лежали или потом упал?

— Как лежали, был. А потом не углядел вот.

— Езжайте и найдите. Мы здесь ждем.

Лукашов молча двинул в метель, а Ивановский постоял немного и свернул на опушку, зашел за молодые, обсыпанные снегом елки. Здесь крутило, словно в аэродинамической трубе,— тучи снега вихрем носились в темени, со всех сторон задувал ветер. Лейтенант быстро развязал тесемки маскхалата, расстегнул брюки. Холодные руки сразу ощутили загустевшую кровь, он разорвал шуршащую обертку пакета и туго перетянул ногу повыше колена. Было чертовски больно, но он вытерпел, подавил вздох и быстро оделся. Снегом тщательно вытер руки — никто не должен заметить, что он ранен, это теперь ни к чему, тем более что рана пустяковая, в общем. Придется потерпеть молча.

Черт, как все произошло несуразно, прямо-таки хуже некуда. На ум сразу пришло народное поверье, что дело с неудачным началом обречено на еще худший конец. У него началось куда как неудачно. Что же будет в конце?

Припав к земле, бойцы терпеливо ждали, сжимая в руках забинтованные стволы оружия. Он тоже подождал немного, потом вынул часы. Те исправно, как ни в чем не бывало делали свое дело, показывая половину третьего. Минула большая часть ночи. Немало прошли и они, но километров двадцать еще оставалось. Если только он не потерял направления. Заметавшись под этим обстрелом, он ни о каком направлении, конечно, не думал; теперь надо было исправлять положение.

Он сориентировал компас. Визир, установленный на двести десять градусов, указывал в кустарник. Во

тьме вьюжной ночи ни зги не было видно, и он решил, что, по-видимому, придется продираться сквозь заросли. Иначе недолго совсем заплутать. Или попасть в лапы к немцам.

— Тсс!

Из мрака донесся чей-то слабый неясный голос, Краснокуцкий поднялся на лыжи и, пригнувшись, шагнул куда-то. Минут пять оттуда больше ничего не было слышно, а потом во тьме что-то мелькнуло и завозилось, белое и неуклюжее. Ну, конечно, двое, согнувшись, волоком тащили Хакимова.

Они все разом вскочили на ноги, схватились за палки. Но помощь уже не понадобилась. Лукашов с Краснокуцким дотащили Хакимова и тут же упали коленями в снег. Лукашов, устало дыша, сказал:

— Вот. Едва нашел. Палка одна воткнута была. Его палка. Смотрю, торчит. А он через десять шагов. Уже снегом заметать стало.

— Что, жив? — спросил лейтенант.

— Жив, но плох. В спину его ударило. И в живот, кажется.

Час от часу не легче. Еще один! Несчастный Хакимов. Такой старательный, подвижный, внимательный парень. Он с первой встречи понравился командиру: немногословный, сообразительный. Но что же теперь с ним делать?

— Так. Быстро перевязать!

— Я тут немного обмотал. По кухвайке. Без памяти он...

Пока двое возились в снегу, перевязывая раненого, Ивановский, расслабив простреленную ногу, растерянно смотрел в темень. Конечно, Хакимова придется тащить с собой. Но как? И до каких пор? И что делать с ним завтра? Все было трудно, неясно и очень скверно, но лейтенант старался не выдать своего затруднения. В том деле, на какое они шли,

он должен знать все, все уметь и быть для других воплощением абсолютной уверенности.

— Так. Перевязали? Делайте связку из лыж. Что, не знаете как? Пивоваров, давай палатку! — с деланной бодростью закомандовал лейтенант.

— Да разве утащишь так? — усомнился Краснокуцкий.

— Утащишь. Снимай с винтовки ремень. Давай кто брючный свой. С него тоже все ремни снимите. Заберите патроны. Все, все. И гранаты тоже. Судник, заберите гранаты. Теперь берите вдвоем. Один за ремень, так. Вы, Пивоваров, страхуйте сзади. Смелее, смелее, не бойтесь.

Кое-как уложив на связку лыж раненого, они поволокли его на опушку. Получилось не ахти как — громоздко и неустойчиво, лыжи разъезжались на снегу, а тело раненого все время норовило завалиться на бок. Сзади тянулась глубокая борозда в снегу. Неизвестно, как далеко можно было так тащить.

Но другого выхода у них не было. Отсюда к своим не отправишь, а оставить негде. Конечно, теперь придется повозиться. Теперь уже вряд ли они успеют к утру...

Они нерешительно полезли в кустарник. То и дело останавливались, поправляли лыжи, едва удерживая на них Хакимова. Тащил Краснокуцкий; Пивоваров, согнувшись, подталкивал и придерживал. Лукашов, идя сзади, иногда помогал, тихо понукая обоих. Лейтенант, то и дело оглядываясь, шел впереди.

К счастью, кустарник не завел их в лес, как того опасался Ивановский, и спустя полчаса они снова оказались в поле. Ветер здесь еще усилился, гуляла поземка. Насквозь пересыпанные снегом, они выбрались на чистое и остановились, чтобы осмотреться и перевести дыхание.

— Так что же делать, лейтенант? — озабоченно выпрямился сзади Лукашов.— Так мы его и будем тащить?

— А что делать? Что вы предлагаете? — с нескрываемым раздражением спросил лейтенант.

— Может, оставили бы где? Если в деревне какой? Или, скажем, в сарае?

— Нет, не оставим,— твердо сказал Ивановский.— Перестаньте об этом и думать.

— Ну что ж, нет так нет,— вдруг согласился Лукашов.— Только далеко ли уйдем так?

— Надо быстрее,— встрепенулся лейтенант.— Изо всех сил быстрее! Поняли?

Не оглядываясь и заметно припадая на правую ногу, он пошел в темень. За ним тронулись на лыжах остальные.

Все подавленно и устало молчали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прежний темп этой сумасшедшей гонки был безвозвратно утерян, который час они брели в метели, как сонные мухи, и лейтенант заботился лишь о том, чтобы не потерять направления. То и дело он останавливался, надо было свериться с компасом и подождать волокушу с Хакимовым. Краснокуцкий с Пивоваровым выбивались из сил. Да и сам лейтенант шатался от усталости, в голове пьяно кружилось от ветра, тяжело давило на плечи оружие, все сильнее болела нога. Но он по-прежнему шел впереди, и Судник, на удивление, от него не отставал. Боец был нагружен сверх всякой меры: кроме своих бутылок, нес еще три килограммовые гранаты Хакимова, его винтовку, которую они не решились бросить, и его вещмешок.

Как-то в темноте им попался в пути занесенный снегом стожок, завидя который лейтенант свернул с прямой и через минуту обессиленно ткнулся плечом в пересыпанное снегом, но по-прежнему пахнущее летом и солнцем сено. Ноги его на лыжах как-то скользко поехали в сторону, и он мягко сполз телом в запорошенный снегом стожок. Несколько секунд тихо лежал в сладостной неподвижности, зажмурившись и ощущая, как все под ним закружилось в каком-то сонном, бездумном вращении. Испугавшись, что тотчас уснет, он огромным усилием воли заставил себя подняться. Нет, кажется, никто не заметил этой его минутной слабости, которой он устыдился в тот момент больше чего-либо другого. Тем временем пришел к стожку Судник, подтащили палаточную волокушу с Хакимовым. Последним тоже устало выполз из сумерек Лукашов. Все молча попадали под стожок.

— Много еще? — с трудом выдавил замыкающий.

— Немного, немного,— с деланной бодростью сказал лейтенант.— Но надо спешить. Там шоссе, его мы должны перейти до рассвета. Днем ничего не выйдет.

— Так, все ясно,— сказал Лукашов.— Тогда потопали.

— Да, надо идти,— подтвердил лейтенант, однако не находил в себе сил сразу оторваться от мягкого бока стожка.

— Ну, взяли саночки. Раз, два! — скомандовал Лукашов, и лейтенант не в первый уже раз мысленно отметил, что этот сержант все увереннее стал командовать в группе. Он и в пути все покрикивал на остальных, подгонял, указывал. Занятый определением маршрута и наблюдением за местностью впереди, Ивановский до сих пор просто не думал, хоро-

шо это или плохо. Впрочем, как замыкающий сержант вполне его устраивал. Замыкающий из него был отличный, у такого наверняка никто не отстанет.

— Так, встать! Встать! — негромко, с привычной настойчивостью понукал Лукашов, сам уже ставший на лыжи и готовый двинуться. Краснокуцкий с очевидным усилием поднялся, закинул за плечо ременную лямку от волокуши. Один Пивоваров остался сидеть, привалясь боком к стожку, и не шевелился.

— Ну а ты что? Особого приглашения ждешь? Пивоваров!

Пивоваров слабо поворошился и не встал.

— Что это с вами? — спросил лейтенант.

— Я не могу,— с обезоруживающей откровенностью сказал боец.

— То есть как — не могу?

— Не могу. Оставьте меня.

— Вот это да! — удивился Ивановский.— Ты что, шутишь?

— Дурит он, а не шутит,— убежденно сказал Лукашов и прикрикнул: — А ну встать!

Тонкий, слабосильный Пивоваров, видно, не рассчитывал на такую дорогу и уже дошел до предела в своих и без того не очень больших возможностях. Вряд ли из него можно было еще что выжать, но и оставлять его под этим стожком тоже никак не годилось.

— А ну поднимайтесь! — строго скомандовал Ивановский.— Сержант Лукашов, поднимите бойца!

Он не мог ничего другого, кроме как по всей строгости употребить свою власть,— только она одна и могла тут подействовать. Лейтенант, разумеется, сознавал всю бессердечность своего далеко не товарищеского требования, понимал, что этот, в общем, послушный и исполнительный боец заслуживал луч-

шего с ним обращения. Но в этой дороге Ивановский перечеркнул в себе всякую дружескую сердечность, оставив лишь холодную командирскую требовательность.

Лукашов подступил к бойцу и вырвал из снега палку.

— Слыхал? Встать!

Пивоваров расслабленно зашевелился, начал вставать, как бы раздумывая, едва превозмогая в себе усталость, и Лукашов вдруг вскипел:

— Кончай придуриваться! Встать!

Сильным рывком за ворот сержант попытался поднять бойца на ноги, но Пивоваров лишь завалился на спину, вскинув вверх ногу с лыжей. Лукашов дернул еще — боец серым бессильным комком скорчился в поднятом им снежном вихре.

Не осилив в себе странного, не в ладу с его желанием вспыхнувшего чувства, лейтенант резко перекинул на разворот здоровую ногу.

— Отставить! Лукашов, стой!

— Чего там стой! Нянькаться с ним...

— Так, тихо! Он не притворяется. Пивоваров, а ну... Пару глотков...

Ивановский снял с ремня флягу, всю дорогу береженную им на потом, на завтрашний день, который, по всей видимости, придется провести в снегу и неподвижности, да еще на обратный путь, а он, вполне возможно, будет похуже этого. Даже наверняка будет хуже. По крайней мере, их теперь не преследовали, их просто еще не обнаружили, ночь и метель надежно скрывали их след. А что будет завтра? Вполне может случиться, что завтра они будут с нежностью вспоминать эту обессилившую их ночь. Но как бы там ни было сегодня, а не дойдут в срок — просто не будет у них никакого завтра.

Пивоваров несколько раз глотнул из фляжки, по-

сидел еще, будто в раздумье, и, пошатываясь, встал.

— Ну и хорошо! Давайте сюда винтовку. Давайте, давайте! А вещмешок возьмет Лукашов. Возьмите, сержант, у него вещмешок. Совсем мало осталось. Самый пустяк. До рассвета укроемся в ельничке, разведаем, высмотрим и вечерком такой тарарам устроим. На всю Смоленщину! Только бы вот Хакимова дотащить. Как он там, дышит?

— Дышит, товарищ лейтенант,— сказал стоявший в своей ременной упряжке Краснокуцкий.— А может, оставить бы, а, товарищ лейтенант? Зарыли бы в стожок...

— Нет! — жестко сказал Ивановский.— Не пойдет. А вдруг немцы? Тогда как: нам жить, а ему погибать? Что тогда генерал скажет? Помните, он наказывал: держитесь там друг за дружку, больше вам не за кого будет держаться.

— Так-то оно так,— вздохнул Краснокуцкий.— Да только бы не напрасно тащили...

Это верно, подумал Ивановский, вполне возможно, что и напрасно. Скорее всего именно так и будет — сколько времени боец не приходит в себя. Да еще эта тряска, холод, закоченеет, и все. А бойцы, которые тащат его, могут выдохнуться раньше, и тогда всем будет плохо. Ивановский, не признаваясь даже себе, начинал смутно чувствовать, что Хакимов медленно, но верно волею фронтовой судьбы превращался из хорошего бойца и товарища в невольного их мучителя, если не больше.

А ведь это был их товарищ, которому лишь по слепой случайности выпало стать жертвой, подобной той, какой стали Шелудяк или Кудрявец. Но разница между Хакимовым и ими состояла в том, что те, погибая, оставили в их душах благодарность и скорбь, Хакимов же чем дальше, тем больше вызывал нечто совсем другое. В то же время было совер-

шенно понятно, что вся его оплошность заключалась лишь в том, что его организм упорнее противостоял смерти. Наученный собственным горьким опытом, лейтенант великолепно понимал, какое это бедствие — раненый в группе. Теперь они, безусловно, опоздают, не смогут затемно перейти шоссе, застрянут в снегу на безлесье, где их легко могут обнаружить немцы. Но как Ивановский ни мучился от сознания столь безрадостной перспективы, он не мог допустить и мысли о том, чтобы оставить раненого. Долг командира и человека властно диктовал ему, что судьба этого несчастного, пока он жив, не может быть выделена из их общей судьбы. Они должны сделать для него все, что сделали бы для себя. Это было законом для разведчиков Волоха, таким оно останется и в группе Ивановского.

Как и все в группе, ее командир совершенно вымотался за эту чертовски трудную ночь. Превозмогая несильную, но ежесекундную боль, он едва двигал раненой ногой. Тем не менее, скрыв от остальных свое ранение, он оставался в глазах бойцов равным со всеми в своих физических возможностях, и это без скидки налагало на него равные с прочими обязанности. С некоторых пор он начал чувствовать в себе некоторую неловкость оттого, что, вынуждая других на сверхчеловеческий труд, сам шел налегке, взяв в качестве дополнительной ноши лишь винтовку Пивоварова. Долг товарищества требовал честно разделить с остальными все тяготы.

Они обошли опушку хвойного леса и снова двигались речной поймой, которая казалась Ивановскому относительно безопасным участком пути. На карте здесь значились только луга, кустарники или болота, деревень поблизости не было, и встреча с немцами была наименее вероятной. Две переметенные снегом дороги они перешли благополучно, теперь ос-

тавалась последняя — большое и, конечно, никогда не пустующее фронтовое шоссе, перейти которое возможно лишь ночью. Но до шоссе еще было километров пять, и лейтенант, шатаясь от усталости, подождал в темноте Краснокуцкого.

— Ну как?

— Да вот скоро вытянусь. Дали бы глотнуть, что ли?

Лейтенант дал ему флягу, тот сделал несколько затяжных глотков.

— Ну, лучше?

— Вроде бы. Скоро зашабашим?

— Скоро, скоро. Давайте помогу. Вдвоем потащим.

— Да ну, какое вдвоем! Только маяться будем. Уж я как-нибудь... Вроде буран стихает.

Лейтенант огляделся и, к удивлению своему, обнаружил, что буран действительно почти стих. Черное небо поднялось, отслоясь от земли, внизу лежало спокойное белое поле, странно вспучившееся сочной ночной белизной, по сторонам опять проступила кружевная вязь кустарников с редкими кляксами молодых елочек. По-видимому, близилось утро. Отекшей рукой Ивановский достал из кармана часы — было четверть седьмого.

— Ого! Еще рывок, и конец. Привал до самого вечера.

Новое беспокойство на короткое время придало сил, и лейтенант энергично задвигал лыжами. Шли вдоль низкорослого, черневшего на снегу верболоза. Не унималась вспыхнувшая досада оттого, что так не вовремя стихла метель, которая теперь была бы куда как кстати. Без нее перейти шоссе будет труднее, тем более если они запоздают. По всей видимости, им не хватает какого-нибудь часа темноты, и этот час может решить все. Генерал в коротком напутст-

вии перед выходом настойчиво советовал максимально использовать темноту — только ночь сулила им какую-то надежду на успех; днем, обнаружив их, немцы, конечно, постараются истребить всех до единого. А ночью они еще смогли бы оторваться и уйти. Что это именно так, лейтенант отлично понимал без доказательств, но все-таки он был признателен генералу за его заботу и добрый совет, в которых чувствовалось что-то совсем не генеральское, а скорее отцовское по отношению ко всем им и к лейтенанту тоже. Безусловно, они тоже понимали, что́ на них возлагалось. С этой ночи они становились единовластными хозяевами своей судьбы, потому что в трудную минуту помочь им не сумеет никто — ни генерал, ни сам господь бог. Но всю дорогу в снежной круговерти этой суматошной ночи лейтенант нес в себе немеркнущий огонек благодарности генералу за его человеческое участие. Этот огонек грел его, вел и таил в себе желанную надежду на успех...

Три дня назад, околачиваясь при штабе после выхода из немецких тылов, Ивановский более всего боялся попасть на глаза именно этому придирчивому, строгому и всевластному генералу, начальнику штаба. Да и не только он — многие в тихой лесной деревеньке, где размещался штаб, с немалой опаской проходили мимо его высокой, с резными наличниками избы. Генерал был беспощадно строг ко всем подчиненным, а здесь, разумеется, все, кроме разве командующего, находились в его прямом подчинении. Одному богу было известно, за что он мог в любую минуту придраться: генерал не терпел праздношатающихся, нарушителей формы одежды и маскировки, тех, кто не так быстро, как ему хотелось, исполнял или передавал приказания — мало ли за что

может придраться к подчиненному строгий начальник в армии! Как-то Ивановский явился невольным свидетелем, как генерал распекал одного полковника за отсутствие каких-то данных на участке левого фланга и как после этого полковник, в свою очередь, разносил командира разведроты, две разведгруппы которого не возвращались из-за линии фронта, хотя миновали все сроки их возвращения.

Ивановский здесь был случайным, чужим человеком. За время своей не слишком продолжительной армейской службы ему не доводилось бывать нигде выше штаба дивизии, и теперь он с интересом наблюдал в общем тихую и довольно мирную жизнь этого тылового учреждения. Раза два, впрочем, в деревне поднимался переполох — налетали «юнкерсы»; сброшенные с них бомбы, однако, особого вреда не причинили, только разрушили пустующий сарай и убили на улице оседланную верховую лошадь. В остальном все здесь шло мирно и спокойно, разве что иногда начштаба начинал обходить отделы, и тогда все эти полковники, капитаны и их кропотливые писари приходили в состояние кратковременной тревоги и сумятицы. Но, наложив пару взысканий, коекому выговорив, а кое на кого накричав, генерал скоро уходил, и в штабе опять все шло как обычно.

Перейдя линию фронта, лейтенант появился здесь с двумя уцелевшими разведчиками, так как после гибели капитана Волоха счел своей обязанностью доложить обо всем, что произошло за две недели их блуждания по немецким тылам. Но озабоченные своими делами штабные начальники отнеслись к нему без особого внимания, и это его задело. Слишком свежа была в его сознании боль многих утрат, смерть Волоха, все их неимоверные испытания там, в тылу у немцев, чтобы он так просто мог примириться с этим невниманием закопавшегося в свои бумаги

начальства. Он пришел в избушку разведотдела к белокурому молодому полковнику и с ходу начал было излагать ему суть дела, но тот долго и невидяще глядел на него, явно при этом думая о другом. Потом полковник бесцеремонно оборвал рассказ лейтенанта и приказал все изложить письменно. Попутно он спросил, прошел ли лейтенант спецпроверку в Дольцеве, где находился сборный армейский пункт для фильтрации выходящих из немецкого тыла окруженцев.

Ивановский обиделся. Он сказал белокурому полковнику, что Дольцево от него не уйдет, а вот немецкий склад боеприпасов может уйти, и тогда все их усилия и все жертвы, в том числе и гибель замечательного разведчика капитана Волоха, будут считаться напрасными.

— Как напрасными? — кажется, впервые чему-то удивился полковник и оторвал карандаш от бумаги, на которой старательно вычерчивал какую-то сложную, со множеством граф таблицу.

— Очень просто,— сказал лейтенант.— Погибли без результата. Ни за понюх табаку.

— Вот как! — сказал полковник и встал, одергивая гимнастерку и поигрывая под ней завидно развитой мускулистой грудью.— Вы из какой, сказали, дивизии?

Ивановский назвал дивизию и полк. Полковник поморщился.

— Это какой же армии? Это даже не нашего фронта. Так не пойдет, пишите объяснение.

Пришлось все-таки приниматься за объяснение. Он сочинял его двое суток, хоронясь от придирчивого генерала, который как раз приехал с передовой и по обыкновению после недолгого отсутствия наводил в штабе порядок. Ивановский приютился на время в штабном АХО, с писарем которого накануне

расила фляжку шнапса, и тот великодушно разделил с «ничейным» лейтенантом свою кровать в полуразрушенном пустующем доме. Правда, вдобавок к фляге пришлось одарить гостеприимного писаря трофейным зеркальным компасом и навсегда расстаться с изящной зажигалкой-монахом. Но за два дня он составил пространный отчет размером в две школьные тетради в клеточку. Наверное, он бы написал его и быстрее, если бы полдня накануне не пришлось урвать от работы для вынужденного визита в особый отдел этого штаба. Но все обошлось благополучно.

Когда он принес свое сочинение, белокурый полковник был, видно, не в духе. Размашистым точным движением он, не глядя, перебросил тетрадки на стоявший по соседству стол, за которым сидел над бумагами бровастый майор.

— Ковалев, вот займитесь. Мне некогда.

Но Ковалев тоже не мог по какой-то причине прочесть это сразу, и лейтенанту ничего более не оставалось, как удалиться и ждать в своей развалюхе. Он уже вскинул было руку к пилотке, чтобы получить разрешение на уход, как дверь в избу широко распахнулась и на пороге, нагибая под притолокой голову, появился тот самый, кого он больше всего боялся здесь встретить. Командиры вскочили за своими столами, а Ивановский только развернулся всем корпусом да так и замер с поднесенной к пилотке рукой.

Наверное, его затрапезный, непривычный здесь вид — Ивановский был в писарской телогрейке, без знаков различия на ней и в засаленной суконной пилотке, а все командиры штаба ходили в добротных цигейковых шапках — показался необычным и остановил на себе острый взгляд генерала.

— Кто такой? — тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил он, обращаясь к полковнику.

— Лейтенант Ивановский, командир взвода такого-то полка такой-то дивизии,— с деланной лихостью и сразу упавшим голосом отрапортовал лейтенант.

— Какой, какой дивизии?

Ивановский твердо повторил номер своей дивизии.

— Не знаю такой. Что вы здесь делаете?

— Он из окружения,— сказал полковник, стоя перед генералом и всей своей импозантной фигурой являя подчеркнутую почтительность с легким оттенком какой-то фамильярной вольности. Ивановский же окаменело застыл навытяжку, впервые в жизни разговаривая с таким высоким начальством.

— Окруженец? Почему здесь? Почему не в Дольцеве?

Новое упоминание о ненавистном Дольцеве опять неприятно задело лейтенанта, но теперь это чувство задетости тут же и помогло ему освободиться от сковавшей его неловкости.

— Я здесь по поводу немецкой базы боеприпасов, товарищ генерал.

— Новое дело! — сказал генерал, не проходя к столу и стоя вполоборота к лейтенанту. Взгляд его придирчивых глаз не сходил с вытянувшейся фигуры Ивановского.— Что за база? Где? Откуда вам про нее известно? Вы разобрались, полковник?

— Разбираюсь, товарищ генерал,— совершенно иным тоном, чем разговаривал до сих пор, сказал полковник. Этот его тон человека, говорящего не совсем то, что имело место в действительности, вынудил лейтенанта на новую по отношению к нему дерзость.

— Полковник не хочет разбираться, товарищ генерал,— выпалил Ивановский. Генерал метнул острый вопросительный взгляд в сторону лейтенанта, потом — полковника. И лейтенант, чувствуя, что тут что-то раз и навсегда решится, добавил: — Артил-

лерийская армейская база в шестидесяти километрах отсюда. Несколько эшелонов боеприпасов, охрана минимальная, вокруг проволочный забор в один кол. Можно уничтожить.

— Вот как? Вы уже и разведали? — сказал генерал и повернулся к нему всем корпусом в распахнутом полушубке, из-под белых бортов которого коротко блеснула эмаль орденов. Голос его уже оттаивал, лейтенант с радостью отметил это и тут же решил выложить все напропалую.

— Запросто можно взорвать. Или сжечь. И наступающие на Москву немцы останутся без боеприпасов.

Он тотчас пожалел о своей опрометчивости, видимо, сразу охладившей только что вспыхнувший к нему интерес генерала, который что-то неопределенное буркнул в воротник полушубка и опустился возле стола на скамейку. Остальные остались стоять на своих местах.

— Говоришь, запросто? Пых — и немецкие войска без снарядов? Так, что ли?

— Не совсем так, товарищ генерал,— пытался исправить свою оплошность Ивановский.— Мы уже пытались, но...

— Уже и пытались? Успели. Ну и что же?

— Двоих потеряли. В том числе капитана Волоха.

— Вот то-то, лейтенант... Как тебя? Ивановский. С кондачка не возьмешь, с головой надо. Но он молодец,— сказал генерал, обращаясь к полковнику.— Если так, пошлите его с группой. Дайте человек десять. Займитесь этим. И без промедления.

— Он без проверки, товарищ генерал,— тихо вставил полковник. Генерал недовольно двинул бровями.

— Ерунда! Его уже проверили. Немцы провери-

ли. А это вот будет второй проверкой. Я скажу Клюзину.— И, повернув голову к просиявшему лейтенанту, сказал, ободряюще повысив голос: — Готовьте группу, лейтенант. Вот с ним. Послезавтра доложите о готовности. Ясно?

— Есть! — не произнес, а почти по-ребячески восторженно выкрикнул Ивановский и, лихо козырнув, закрыл за собой дверь.

Назавтра ему повезло меньше. Полковник, к которому он снова пришел поутру, отправил его к какому-то майору Коломийцу, лейтенант прождал этого Коломийца полдня, и, когда наконец дождался и передал приказание полковника, тот тихо эдак сразил его первой же фразой:

— А где я возьму людей? У меня никого нет, остался один ездовой.

Почувствовав, что опять все рушится, Ивановский не стал больше ничего выяснять или доказывать, а, полный новой решимости, скорым шагом направился к высокому дому с красивыми ставнями. Конечно, его туда не пустили, он затеял глупую и безуспешную ссору с невозмутимым часовым у крыльца и просто уже был в отчаянии, когда дверь в избу внезапно распахнулась и на пороге появился сам генерал. Он не сразу узнал вчерашнего лейтенанта, и тому пришлось снова назвать себя и дрогнувшим голосом сообщить, что с организацией группы ничего не выходит. Генерал гневно сверкнул глазами, словно в этой неудаче был виноват сам Ивановский.

— Как не выходит?

— Нет людей, товарищ генерал. Полковник послал...

— Зименькова ко мне! — бросил он кому-то, кто стоял у него за спиной, и тот проворно скрылся в сенях, куда, ни слова больше не сказав, удалился и ге-

нерал. Ивановский остался стоять у крыльца один на один с часовым, который с молчаливым злорадством посматривал на него. «А все-таки не пройдешь»,— было написано на его физиономии. Но лейтенант уже не рвался в эту просторную избу. Он покорно прождал минут двадцать, пока на крыльце не появился старший лейтенант в новом полушубке с маузером через плечо.

— Идите к капитану Зименькову и получите людей. Завтра в тринадцать ноль-ноль генерал ждет с докладом о готовности группы.

— Есть! — сказал Ивановский. Он не спросил даже, кто этот капитан Зименьков и где его искать,— пришлось разузнавать об этом у коноводов на улице. И действительно, к вечеру у него на руках уже был список из восьми бойцов и одного старшины; десятым в этом списке значился он сам.

И лейтенант начал готовиться.

Кроме людей, надлежало получить боеприпасы, бутылки КС, взрывчатку, два метра бикфордова шнура. Четверо из девяти были в обтрепанных шинелишках, без телогреек, нужно было их переобмундировать. Кто-то долго не хотел выдавать маскхалаты (на накладной не было подписи старшего начальника); за лыжами пришлось ездить в тыловую, за пятнадцать километров, деревню. Последнюю ночь перед выходом он едва прикорнул пару часов, поел только раз за день, выстоял на трех инструктажах, но в тринадцать тридцать все-таки привел группу к высокому с красивыми ставнями дому. На этот раз его беспрепятственно пропустили внутрь, и он с трепетной радостью доложил о готовности выполнить боевой приказ.

Генерал закончил телефонный разговор и положил трубку. Как был в меховом поверх гимнастерки жилете, молча вышел во двор, где, выстроившись

по команде «смирно», ждали девять бойцов с Дюбиным во главе. Генерал молча прошелся перед этим строем, осмотрел всех, и на его немолодом уже, в морщинах, с провалившимися щеками лице впервые за время своего пребывания в штабе Ивановский не обнаружил и следа пугающе начальственной строгости. Теперь это было просто усталое лицо обремененного заботами, плохо выспавшегося, пожилого человека.

— Сынки! — сказал генерал, и что-то в душе лейтенанта странно дрогнуло.— Все знаете, куда идете? Знаете, что будет трудно? Но нужно. Видите, метет,— показал он в низко нависшее облачное небо, из которого падал легкий снежок.— Авиация на приколе. На вас вся надежда...

Он и еще говорил, наставляя, как вести себя в трудную минуту в тылу, где уже никто, кроме товарища, не сможет тебе помочь. Но он мог бы и не делать этого — лейтенант имел достаточный опыт боевых действий в немецком тылу, накопленный за время двухнедельных блужданий по смоленским лесам. А вот его совершенно не начальнический, почти дружеский тон и его участливое отношение к их полным неизвестности судьбам с первых слов сразили лейтенанта, который с этой минуты готов был на все, лишь бы оправдать эту его человеческую сердечность. Даже сама смерть в этот момент не казалась ему чем-то ужасным — он готов был рисковать жизнью, если это понадобится для Родины и если на это благословит его генерал.

Наверно, так чувствовал себя не один он, а и другие в этом коротеньком строю во дворе, преисполненные внимания и решимости. И когда Ивановский, отдав честь, повернул группу на выход, в его душе неумолчным торжествующим маршем звучали фанфары. Он знал, что выполнит все, на что послан, иного не должно, а потому и не могло быть...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как лейтенант ни торопил бойцов на последних километрах пути, все же рассвет застал их в голом, белоснежном после ночной вьюги поле, на подходах к шоссе.

Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр. Со все возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги, как вдруг увидел на ней спускающиеся с пригорка машины. Лейтенант чуть не вскрикнул с досады — не хватило каких-нибудь пятнадцати минут, чтобы проскочить на ту сторону. В утешение себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут, и они действительно быстро скрылись вдали, но следом появился конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые легковушки. Стало ясно: начинался день и усиливалось движение; перейти шоссе незамеченными с их самодельной волокушей нечего было и думать.

Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но и не удаляясь от него, круто взял в сторону, на недалекий голый пригорок с реденькой гривкой кустарника. Укрытие там, судя по всему, было не бог весть какое, но и ждать в лощине на виду у шоссе тоже никуда не годилось — стало светло, и каждую минуту их могли обнаружить немцы.

Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка, едва не вывалив из волокуши раненого, и лейтенант, превозмогая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже кустарнику. Однако на полпути к нему перед Ивановским вырос из снега какой-то довольно высокий вал, ровно прорезавший пригорок и уходивший к шоссе. Лейтенант в недоумении остановился, но вскоре все понял и обрадованно махнул медленно

бредущим за ним товарищам — давайте скорее!

Это был полузаметенный снегом противотанковый ров, одно из тех многокилометровых полевых сооружений, которые с начала войны во всех направлениях изрезали русскую землю. Сколько труда было затрачено на их устройство, но лейтенант не мог вспомнить случая, чтобы такой ров сколько-нибудь задержал продвижение танковых армий Гитлера. Колоссальные эти сооружения, наверно, только тогда оправдывали свое назначение, когда были надежно прикрыты огнем пехоты и артиллерии, в противном же случае их танконепроходимость ненамного превосходила непроходимость обычной придорожной канавы.

Но теперь ров попался им весьма кстати на этом открытом пригорке, и лейтенант, не мешкая, наискось съехал на его широкое, переметенное снежным сугробом дно. Тут было затишнее и довольно глубоко, ветер с одного края намел изящный фигурный застрешек, образовавший некоторое укрытие сверху. Наверно, какое-то время тут можно было отсидеться.

Один за другим они ввалились в это укрытие и тут же попадали на мягкие изгибы суметов. Он тоже упал, словно впаялся задом в плотно спрессованный вьюгой снег, и, жарко дыша, долго невидяще глядел, как снежной пылью курился на ветру гребешок застрешка напротив. Он не знал, как быть дальше, где и как перебраться через злополучное шоссе, не представлял себе, что делать с раненым. Он чувствовал только, что с прошлой ночи все пошло не так, как он на это рассчитывал, все выходило хуже, а может статься, что закончится и совсем плохо. Но он не мог допустить, чтобы после стольких усилий все завершилось неудачей, он чувствовал, что должен до последней возможности противостоять обстоятельствам так, как если бы он противостоял нем-

цам. Не подвели бы силы, а решимости у него хватало.

Минут двадцать они лежали во рву, не проронив ни единого слова, и он не мог найти в себе силы, чтобы заговорить и назначить наблюдателя. Он лишь мысленно твердил себе, что сейчас, сейчас надо кого-то назвать. Хотя все они были до крайности измотаны, но кто-то должен был пожертвовать отдыхом и вылезть наверх, на ветер и стужу, чтобы не дать противнику застать врасплох остальных.

— Надо наблюдателя,— наконец сонно произнес Ивановский и переждал немое молчание лыжников.— Судник — вы.

Судник, привалясь спиной к снежной стене, держал на коленях набитый опилками вещмешок со своим деликатным грузом. Похоже, он спал. Голова его в мокром капюшоне была закрокинута, глаза прикрыты.

— Судник! — громче позвал лейтенант.

— Счас, счас...

Еще немного помедлив, боец рывком выпрямился, сел ровнее. Затем, опершись на руки, встал и, резко пошатнувшись, едва не упал снова.

— Тихо! Бутылки! — испугался лейтенант, и этот испуг разом вырвал его из состояния крайне одуряющей усталости.

Оставив лыжи внизу, Судник вскарабкался на высокий, крутой бруствер чуть в стороне от бойцов и залег за ним — белым пластом на свежем снегу.

— Как там? Идут? — спросил Ивановский.

— Идут. И конца не видать.

Ну, конечно, они будут идти, не будут же они ждать, когда он благополучно переберется на ту сторону, чтобы уничтожить их базу. У них свои цели и свои задачи, прямо противоположные его задаче, и он подумал: хорошо еще, что поблизости нет их

стоянок, тыловых частей, иначе бы он недолго просидел в этом укрытии.

Наверно, прошло около получаса, Ивановский прохватился от стужи — разгоряченное при ходьбе тело начал пробирать мороз. Все, кроме Судника на бруствере, неподвижно лежали в изнеможении, и он, подумав, что так запросто можно обморозиться, воскликнул:

— Не спать! А ну сесть всем!

Кто-то заворошился, Лукашов сел, мутным от усталости взглядом обвел снежное укрытие. Пивоваров не тронулся с удобного в снегу места — он спал. И лейтенант, подумав, решил, что, по-видимому, и надо все-таки дать несколько минут вздремнуть, иначе их просто не сдвинешь с места. Авось за тридцать — сорок минут не замерзнут. Правда, сам он в таком случае уснуть уже не имел права.

Немалым усилием, подкрепленным сознанием близкой опасности, Ивановский отогнал от себя одуряющую дрему, напрягся и встал. Его давно беспокоил Хакимов, но только теперь появилась возможность осмотреть его, и лейтенант, пошатываясь, подошел к раненому. Как и опасался командир, боец был плох. Наверно, все еще не приходя в сознание, он неподвижно лежал на лыжах, туго завернутый в обсыпанную снегом палатку, в тесном отверстии которой проглядывало его бледное, с синюшным оттенком лицо. От частого, трудного дыхания края палатки густо заиндевели, и снежинки, осыпаясь с них, сразу же таяли на мокрых щеках Хакимова — у него был жар. Склонившись над бойцом, лейтенант тихонько позвал его, но тот никак не реагировал, продолжая напряженно, часто дышать.

Посидев над раненым, Ивановский начал сомневаться в правильности своего решения, обрекавшего Хакимова на эту многотрудную дорогу. Может, дей-

ствительно лучше было бы оставить его в каком-нибудь стожке сена дожидаться возвращения группы. Но тогда с раненым пришлось бы оставить и еще кого-то, а на это лейтенант согласиться не мог: и без того из десяти человек их осталось всего лишь пятеро. И перед этими пятью все усложнялась их главная боевая задача, ради которой они, хотя и с запозданием, сюда прибыли. Для выполнения этой задачи прежде всего надо было перейти шоссе, но как это сделать на виду у забивших дорогу немцев, лейтенант не мог взять в толк.

Мысли об этом шоссе теперь не выходили у него из головы, и скоро он встал. Хакимову он ничем не мог пособить, а о задаче он просто ни минуты не мог не думать. Он воткнул в сугроб лыжи и, шатко ступая в снегу, полез на бруствер к Суднику. Тут было ветрено и холоднее, чем на дне рва, зато открывался широкий обзор на поле с обоими концами шоссе, середину которого скрывала вершина холма. Туда же уходил ров. По ту сторону шоссе, местами близко подступая к дороге, широко разбрелись перелески и кустарники, а вдали и несколько в стороне от речной поймы темнел знакомый сосновый лесок, так неласково встретивший их однажды.

Лейтенант вынул из-за пазухи карту, сориентировался. База намеренно не была помечена на его карте, но он и без того твердо помнил место ее расположения на северном выступе крохотной надречной рощицы. Теперь, найдя на карте этот пригорок, лейтенант увидел, что их разделяло всего каких-нибудь два километра, не больше. Опять стало мучительно обидно: так это было близко и так недоступно. Из-за этого проклятого шоссе приходилось терять целый день — целый день мучиться в неизвестности и терпеть стужу.

Вместе с Судником Ивановский стал наблюдать

за шоссе, на котором в течение коротеньких промежутков времени выпадали небольшие разрывы в движении. Шли в основном грузовые — крытые и с открытыми кузовами машины самых различных марок, видно, собранные со всех стран Европы. Большинство их мчалось на восток, к Москве. И вдруг лейтенант подумал, что если не всем и не с раненым, то хотя бы с одним-двумя, наверное, стоит рискнуть и, используя ров, перебраться через шоссе на ту сторону. По крайней мере, за день он бы там многое высмотрел, разведал, составил план действий, а с наступлением ночи перевел бы через шоссе всю группу.

Эта мысль сразу придала ему бодрости, новая цель вызвала дополнительные силы для действия. Он сполз с бруствера, негромко, но энергично шумнул лыжникам:

— Подъем! Попрыгать, погреться всем! Ну!

Краснокуцкий, Лукашов сразу поднялись, обшлепывая себя рукавицами, замахали руками. Лукашов растормошил осоловелого со сна Пивоварова.

— Греться, греться! Смелее! — настаивал лейтенант и тут же вспомнил наилучшую для подъема команду: — А ну завтракать! Лукашов, доставайте консервы! Всем по два сухаря.

Лукашов, сонно подрагивая, достал из сумки несколько ржаных сухарей и банку рыбных консервов. Лейтенант со скрипом вспорол ножом ее жестяное дно, и они ножами и ложками принялись выскребать мерзлое ее содержимое.

— Ну как, Пивоварчик, вздремнул? — искусственно подбадриваясь от холода, спросил лейтенант.

— Да так, кимарнул немного.

— Что ж ты сдал было, а?

— Притомился, товарищ лейтенант,— просто ответил боец.

— А я-то думал, ты крепачок,— с легкой шутли-

достью заметил Ивановский.— А ты вон какой...

— Подбился я.

Он не оправдывался, не ныл, вид его теперь, после короткого отдыха, был смущенно-виноватый, смуглые щеки со сна горели почти детским румянцем.

— Подбился! — осуждающе передразнил Лукашов.— Чай не у мамки. Тут того — отставший хуже убитого.

— Убитый что, убитый силы не требует. А тут во — пузыри на руках от веревки,— показал Краснокуцкий свои распухшие красные ладони — ему, разумеется, досталось за минувшую ночь. Но кому не досталось? И еще неизвестно, что всем им достанется в скором будущем.

— А то вон умники,— прежним раздраженным тоном продолжал Лукашов.— То ли смылись, то ли заблудились. А тут за них отдувайся.

Он имел в виду Дюбина с Зайцем, о которых также ни на минуту не забывал лейтенант. С убитым все было ясно; очень трудно, но все же понятнее было с Хакимовым — старшина же с Зайцем исчезли в ночном пути, будто провалились сквозь землю,— тихо, бесследно и загадочно.

— Хорошо, ежели просто. А то кабы еще не того,— говорил Лукашов, строго и озабоченно поглядывая вдоль рва, и лейтенант понял, на что намекал сержант. Но того, что он имел в виду, не должно быть. Вернее, Ивановский не хотел допустить и намека на мысль, что старшина Дюбин мог совершить предательство. И тем не менее он и сам был полон неуверенности и сомнения — как ни думал, не мог понять, куда запропастились эти двое из его и без того маленькой группы.

— Еще немцев по следу приведут,— простодушно отозвался Краснокуцкий.— А что: лыжня на снегу, гони — где-то догонишь.

— Все может быть,— мрачно согласился Лукашов.

— Нет, так нельзя говорить,— вмешался Ивановский.— Старшина не такой. Не тот человек.

Лукашов, жуя сухарь, устало глядел в дальний конец рва.

— Человек, может, и не тот, а все может статься. У нас вон тоже в сто девятом такой бравый капитан был, все оборону строил. И построил — оказалось, не в ту сторону. Немцы появились, первым руки поднял.

— Ну, это вы оставьте,— решительно оборвал его Ивановский.— Дюбин не капитан, это точно. И потом надо больше, Лукашов, людям верить. Вам же вот верят.

— Так то я...

— А почему вы думаете, что Дюбин хуже вас?

— А вот я здесь, а его нема.

Действительно, логика его рассуждений была почти убийственной, возразить ему было трудно. В самом деле, он же вот не отстал, хотя и был замыкающим, и еще не позволил отстать Пивоварову, который теперь сидел рядом и быстро вылизывал ложку. В общем, Лукашов был прав, но Ивановский не хотел до времени выносить приговор Дюбину. Что-то располагающее все-таки было в старшине, несмотря на раздражавшую лейтенанта строптивость. Консервы они скоро доели, сидя в сугробе, догрызли и сухари. Ивановский спрятал ложку в карман.

— Сержант Лукашов,— другим тоном сказал лейтенант.— Останетесь за меня. Надо кое-что разведать. Всем находиться тут. Можно отдыхать. Наблюдение круговое. Скоро вернусь. Что не ясно?

— Ясно,— с готовностью ответил Лукашов.

— И чтоб все в норме. Смотрите Хакимова.

— Все будет сделано, лейтенант. Досмотрим.

— Так. Пивоварчик, за мной!

— Я? — удивился Пивоваров, но, помедлив, начал послушно вставать.

— Берите лыжи, остальное. И потопали. Лукашов, подмените Судника. Небось закоченел там.

Проваливаясь в глубоком снегу, местами доходившем до пояса, Ивановский направился по рву к шоссе. Лыжи они несли в руках. Ров время от времени делал небольшие изгибы, выходя из-за которых лейтенант с предосторожностью осматривался по сторонам. Но во рву и поблизости вроде никого не было; ребристые снежные суметы на дне лежали нетронутыми. Наконец стало слышно глухое урчание дизелей, пахнуло едва уловимым на морозе дымком синтетического бензина — они подошли к дороге. Ивановский высунулся из-за оголенного глинистого выступа на очередном повороте и тут же отпрянул назад. Совсем близко, в конце широкого разреза рва, промелькнул автомобильный кузов, укрытый вздувшимся на ветру брезентом, потом еще и еще. Шла колонна автомобилей, в некоторых открытых машинах возле кабин были видны нахохлившиеся фигуры немцев в зеленых шинелях. Судя по всему, их здорово-таки пробрал русский мороз, и седоки не очень засматривались по сторонам. Лейтенант сделал рукой знак замерзшему от напряжения Пивоварову и по краю сумета взобрался на откос.

Конечно, он был далек от того, чтобы надеяться на скорую удачу, на удобный для перехода момент, но все же такого упорного невезения он не ожидал. Коченея на морозном ветру, он едва дождался, пока прогрохотали по шоссе машины, казалось, поблизости никого больше не было. Но едва он высунулся из-за смерзшихся на бруствере комьев, как снова увидел невдалеке немцев. Их было трое, это были связисты. В то время как один, взобравшись на

столб, возился там с проводами, двое других с аппаратами сидели на обочине дороги — видно, налаживали связь. Из-за их спин торчали стволы винтовок, на земле лежали мотки проводов и какие-то инструменты. Правда, занятые делом, немцы не глядели по сторонам, но, разумеется, заметили бы двоих русских, если бы те под самым носом у них вздумали перебегать шоссе.

Значит, опять надо было ждать.

И лейтенант уныло лежал на мерзлых, присыпанных снегом комьях и не отрывал глаз от шоссе. Стало чертовски холодно, мерзли ноги, раненое бедро болело все больше, и эта боль все чаще отвлекала на себя внимание. Движение на шоссе уже несколько раз то возобновлялось с наибольшей плотностью, то несколько затихало, и тогда появлялся разрыв в километр или, возможно, больше. Раза два подворачивался более-менее удобный момент, чтобы перебежать на ту сторону, но немцы все еще возились со своей связью. Лейтенант три раза доставал увесистый кубик танковых часов, последний раз показавший половину одиннадцатого. Связисты не уходили. Прошло полчаса, прежде чем тот, что сидел на столбе, наконец слез на землю, и лейтенант подумал, что теперь, возможно, они смоются... Но немец перешел к следующему столбу и, прицепив к ногам свои серпы-кошки, снова полез к проводам. Втроем они о чем-то негромко переговаривались там, но ветер относил их слова в сторону, и лейтенант не мог ничего расслышать.

Так продолжалось бесконечно долго. Ивановский уже начал оглядываться по сторонам, подыскивая в отдалении от этих связистов какое-нибудь более подходящее место, как увидел, что возле двух немцев на обочине появился еще один. Откуда он взялся тут, было совершенно непонятно, наверно, скры-

тый от него холмом, сидел где-нибудь на дороге. Лейтенант почувствовал легкий озноб: рискни он перебегать шоссе — и наверняка бы напоролся на этого невидимого четвертого немца. Между тем немец присел над аппаратом, о чем-то поговорил с остальными и махнул рукой тому, что сидел на столбе,— тот начал слезать. Пока он спускался, эти трое встали, не спеша разобрали свои сумки и ящики и направились вдоль по дороге.

На этот раз они остановились в значительном отдалении от рва, на столб уже никто из них не полез, и лейтенант глянул в противоположный конец шоссе — теперь, видно, надо было решиться. Но прежде следовало как можно ближе подойти к дороге.

Он сполз с откоса на дно рва, сильно потревожив раненое бедро. Пивоваров вскочил со своего насиженного в снегу места, Ивановский молча кивнул головой, и они, прижимаясь к крутой стороне откоса, быстро пошли по рву вниз. Тут их уже легко могли увидеть с дороги, и лейтенант скоро упал за поперечный сумет, вжался в снег, рядом проворно зарылся в снег Пивоваров. Опухшее от холода и бессонницы мальчишечье лицо бойца застыло в предельном внимании, время от времени лейтенант перехватывал его тревожный, вопрошающий взгляд. Находясь на дне рва, боец абсолютно ничего не видел и во всем полагался на командира, который теперь принимал решения, так много значившие для обоих.

Но отсюда уже и сам лейтенант ничего не мог увидеть и вынужден был полагаться на слух чутко улавливая все разрозненные и переменчивые звуки, долетавшие к ним с дороги. Конечно, это был не самый надежный способ из всех возможных для перехода, но другого у них не оставалось. Дождавшись, когда урчащий гул дизелей на шоссе несколько ослаб, и не уловив поблизости никаких новых зву-

ков, Ивановский сказал себе: «Давай!» — и вскочил.

В несколько прыжков по глубокому снегу он достиг придорожного окончания рва, выглянул из него — шоссе поблизости действительно было пустым, хотя на дальний пригорок он просто не успел бросить взгляда, с бешеной прытью, пригнувшись, он выскочил на укатанную твердь шоссе и размашисто спрыгнул в сумет на дно следующего отрезка рва. На бегу он с удовлетворением отметил за собой тяжелое дыхание Пивоварова и изо всех сил припустил по дну к недалекому уже повороту. Через несколько прыжков, однако, он опять стал различать напряженное завывание моторов и в беспокойстве внутренне сжался, ожидая криков или, может, выстрелов. Но он все-таки успел скрыться за поворотом. Пивоваров несколько опоздал, но лейтенант, оглянувшись, увидел, что машины появились секундой позже того, как боец упал за изломом. Машины промчались, не сбавляя скорости, и он впервые за это утро с облегчением выдохнул горький, раздиравший его грудь воздух.

— Фу, черт!..

Оба с минуту загнанно, трудно дышали, потом Ивановский, привстав на коленях, огляделся по сторонам. Кажется, невдалеке был кустарник — реденькие его верхушки местами выглядывали из-за высокого бруствера, и лейтенант с бойцом расслабленно пошли по рву. Порядком отойдя от шоссе, они попытались выбраться в поле. К удивлению командира, Пивоварову это удалось скорее, лейтенант с первой попытки добрался лишь до половины склона и, поскользнувшись на крутизне, сполз в сумет. Опять очень заболело бедро. В этот раз он не смог или не захотел подавить в себе стон, и Пивоваров обернулся на бруствере, метнув в его сторону испуганный вопрошающий взгляд.

— Ничего. Все в порядке.

Ивановский собрался с духом, преодолел боль, боец протянул командиру лыжную палку, с помощью которой тот перевалил наконец через бруствер.

— Так. Теперь на лыжи!

Тут, наверно, уже можно было идти вдоль рва, прикрываясь со стороны дороги бруствером, местами их неплохо скрывал кустарник.

Справа в отдалении серели хвойные верхушки рощи, где ждала их удача или несчастье, слава или, может, смерть — их судьба.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Продираясь на лыжах через кустарник, Ивановский почувствовал приступ какого-то неприятного, все усиливающегося, почти неодолимого беспокойства.

Было совершенно непонятно, отчего оно именно в этот момент так настойчиво заявило о себе, в конце концов, кажется, все складывалось более или менее благополучно: они перешли шоссе, вроде бы их не заметили, совсем уже близка была цель их трудного многоверстного ночного пути. Хотя и с препятствиями, но приближался финал, наверное, теперь они могли что-нибудь сделать. Правда, их силы разрознились — часть потеряли при переходе линии фронта, двое исчезли в ночи, трое остались на той стороне шоссе, и здесь их оказалось всего лишь двое. Двое, конечно, не десятеро. Но вряд ли именно это обстоятельство было причиной его неясного и такого неотвязного теперь беспокойства.

Чем ближе они подходили к видневшейся вдали рощице, тем все тревожнее становилось на душе у лейтенанта. Нетерпение охватило его так сильно,

что он не мог позволить себе остановиться, чтобы поправить повязку на бедре,— кажется, начала кровоточить рана. Впрочем, он давно уже старался не замечать боли, к ней он притерпелся за ночь. Теперь он даже не слишком осматривался по сторонам — он изо всех сил стремился к роще, словно там ждала его самая большая в его жизни награда или, может, самая большая беда. Пивоваров весь в поту, который он уже перестал вытирать с лица рукавом маскхалата, старался не отстать, и они, запыхавшись, скорым шагом поднимались по краю кустарника. Было уже совсем светло, дул несильный морозный ветер, небо, сплошь заволоченное тучами, низко свисало над серым, невзрачным подернутым дымкой пространством.

Достигнув вершины пригорка, Ивановский сквозь голые ветки ольшаника поглядел вниз. Перед ними была ложбина с вдавшимся в нее языком кустарника, в котором лейтенант едва узнал тот ольшаничек, где они с Волохом дожидались ночи. Но вместо тогдашней чащобы, давшей приют семерым, теперь сиротливо чернели на снегу мерзлые прутья чахлых деревцев, в которых едва ли могла спрятаться птица, не то что человек. Зато на пригорочке через ложбину как ни в чем не бывало безмятежно зеленел хвойный гаек, обнесенный нечастыми столбами немецкой ограды, у которой им так не повезло в прошлый раз, но должно повезти, не может не повезти в нынешний.

При виде знакомой изгороди у лейтенанта немного отлегло на душе — главное, он все-таки добрался до нее. Все остальное уже зависело от его умельства, находчивости, от их смелости. Действие различных привходящих причин здесь сводилось к самому возможному в таких случаях минимуму.

Скрываясь в кустарнике, Ивановский постоял ми-

нуту или две, отдыхая и успокаиваясь от все время донимавшего его нетерпения. Он старался внушить себе, что как-нибудь все обойдется. Правда, окончательно увериться в этом ему не удалось, что-то все-таки не переставало угнетать, будоражить его и без того взбудораженные за эту ночь чувства. Пивоваров, ни о чем не спрашивая, видно, без слов понимал положение и ждал, когда они направятся дальше. Ивановский же все не мог оторвать взгляда от этой дальней хвойной опушки, будто надеясь там что-то увидеть. Но там, на расстоянии в километр, если не больше, почти ничего не было заметно, кроме редких стволов свободно разбежавшихся по снегу сосен да нескольких столбов ограды. Впрочем, оно и понятно: немцы успели замаскировать объект. Они ведь тоже умели маскироваться — разные там сети, зеленые насаждения, снег. Вот только удивляло, куда девалась дорога, на которой разведчики Волоха обнаружили немецкие грузовики, перевозившие боеприпасы,— она проходила как раз по косогору к роще, а теперь там на снегу не видно было и следа. «Может, ее замело ночью?» — подумал лейтенант. Но хоть какой-то признак ее должен был сохраниться даже и после метели. А может, дорогу проложили в другом, не видном отсюда месте? Впрочем, дорога ему сейчас была без надобности, воспользоваться ею скорее всего им не придется. Гораздо важнее было высмотреть скрытый подход к этой рощице, чтобы ночью, в темноте, незамеченными как можно ближе подползти к ограде. По всей видимости, открытая напольная сторона для этого мало годилась, надо было разведать подходы с юга.

— Пивоваров, айда! Тихо только...

Уклоняясь от цеплявшихся за капюшоны мерзлых ветвей, они пошли по кустарнику вниз в обход поля. Ивановский был весь настороже, все теперь

в нем напряглось, как не напрягалось ни разу за всю прошлую суматошную ночь. Но вокруг стояла тишина, и это немного успокаивало. В который уже раз лейтенант стал прикидывать, как лучше проникнуть за изгородь,— теперь это было, пожалуй, самое важное и самое трудное в его задаче. Конечно, если штабеля близко от проволоки, то можно будет забросать их гранатами и бутылками с КС, хотя вряд ли они будут размещены на расстоянии броска гранаты. Тогда придется преодолевать изгородь. Лучше всего, пожалуй, сделать это одному, а остальным прикрыть на случай обнаружения и обеспечить отход. Пусть даже приняв недолгий бой с часовым,— на их стороне внезапность, и минуты времени им бы, пожалуй, хватило, чтобы сделать все, что понадобится. Хуже вот, если там собаки.

Но даже если и собаки, одному или двоим придется лезть через проволоку, остальные должны будут отвлечь на себя собак и принять огонь часовых. Иного не оставалось. Главное — успеть за считанные секунды зажечь и взорвать как можно большее число штабелей. Остальное сделают детонирующие взрывы, и все довершит огонь.

По мелколесью они пересекли лощину, краем опушки обошли открытый участок поля. Поблизости нигде никого не было, никто им не встретился. Шли осторожно, теперь уже не спеша. Иногда лейтенант останавливался и прислушивался: вокруг стояла ветреная зимняя тишь. Однажды ветер принес в ложбину далекий гул моторов, но, вслушавшись, Ивановский понял, что это с шоссе. Рощица в отдалении удивительно немо, почти мертво молчала.

Спустя полчаса на их пути неожиданно появился овражек. Весь голый, извилистый, с занесенными снегом склонами, он просматривался во всю длину, и лейтенант не сразу понял, что это тот самый овраг,

откуда Волох пошел в снегопад к изгороди. Значит, надо было зайти еще дальше, по кустарнику обогнуть базу на километр глубже. Уж там наверняка можно будет подойти к ней ближе и рассмотреть обстоятельнее.

Он оглянулся на Пивоварова, раскрасневшееся лицо которого наполовину скрывал мокрый обвисший капюшон: парень изо всех сил работал палками, лыжи по-прежнему глубоко зарывались в рыхлом снегу. Преодолевая в себе все возраставшее напряжение от сознания близости цели, Ивановский молча дал знак Пивоварову обождать, а сам обошел овраг и остановился за ветвистым кустом орешника.

Голые, окоренные столбы ограды были уже совсем близко. Высокие, в рост человека или больше, они заметно выделялись на зеленовато-снежном фоне молодых сосенок. Но, удивительное дело, за ними пока все еще ничего не было видно. Как он ни напрягал зрение, решительно нигде не мог обнаружить знакомых штабелей из серых и желтых ящиков, которые так явственно стояли в его глазах с того самого момента, как он впервые рассмотрел их в бинокль. Не было видно и брезентов. Это обстоятельство снова недобрым предчувствием обеспокоило лейтенанта, и он махнул Пивоварову — присядь, мол, замри. Тот понял сигнал и опустился на лыжи, а лейтенант после минутного колебания вышел из кустарника.

Наверно, он поступил неразумно, командиру группы не следовало бы так рисковать собой, но Ивановский уже был не в состоянии сдержаться. Недоброе предчувствие целиком охватило его, что-то сдавив в горле, он сглотнул комок обиды и, не сводя взгляда с близкой уже опушки, быстро и напрямую пошел к ней.

Теперь их разделяло всего каких-нибудь триста

метров, и уже в самом начале этого пути лейтенант понял, что проволоки на столбах нет. Проволока, некогда опутывавшая базу, была снята, и ее отсутствие самой большой тревогой, почти испугом, отозвалось в сознании Ивановского. Уже ничего не остерегаясь и не обращая внимания на то, что его легко могли увидеть в открытом поле, он в несколько рывков достиг крайних сосенок рощицы и остановился, пораженный, почти уничтоженный тем, что обнаружил.

Базы не было. В сосняке на пригорке не было ни часовых, ни собак, ни штабелей из желто-зеленых ящиков — под ногами ровно лежал нетронутый снег да по опушке тянулся ряд белых столбов, единственно напоминавших о базе,— других ее признаков здесь не осталось. Проволоку, видимо, аккуратно сняли со столбов и увезли куда-то, наверно, в другое, более нужное место.

Недоумение в сознании лейтенанта сменилось замешательством, почти растерянностью, он постоял на чистом, свежем после ночной вьюги снегу, потом прошел на лыжах к противоположной стороне, туда, где некогда был въезд. Но и здесь ничего не осталось, лишь в чаще молодых сосенок под снегом угадывалось несколько опустевших ям-капониров да на краю рощи у столбов высилась куча присыпанных снегом жердей, наверное бывших подкладками под штабелями. Больше здесь ничего не было. Дорога, отсутствие которой в поле удивило лейтенанта, белою пустой полосой лежала под снегом — по ней давно уже не ездили.

Вдруг совершенно обессилев, Ивановский прислонился плечом к шершавому комлю сосны, раздавленный пустотой и заброшенностью этой теперь никому уже не нужной рощи. Базу переместили. Это было очевидным, но он не мог в это поверить. В его

смятенном сознании застряла и не хотела покидать упрямая протестующая мысль, готовая внушить, что это ошибка, нелепое злое недоразумение, и что нужно лишь небольшое усилие, чтобы это понять. Иного он не мог представить себе, потому что он не в состоянии был примириться с тем, что и на этот раз его постигла неудача, что огромные усилия группы затрачены впустую, что напрасно они подвергали себя бессмысленному смертельному риску, потеряли людей и совершенно измотали силы. Они опоздали. Он не сразу поверил в это, но, постояв под сосной и отдышавшись, все-таки понял, что никакого наваждения не было. Была жестокая, злая реальность, еще одна большая беда из всех бед, выпавших за эту войну на его злосчастную долю.

С усилием оторвав плечо от сосны, он стал ровнее на лыжи и слабо оттолкнулся палками. Лыжи скользнули в шуршащем снегу и остановились. Он не знал, куда направиться дальше, впервые отпала надобность куда бы то ни было спешить, и он оперся на палки. На сосновой ветке поблизости появилась вертлявая сорока, все время сердито стрекотавшая на него, вспорхнув над головой, с коротким писком нырнула в чащу синичка. Ивановский не замечал ничего. Какое-то оцепенение сковало его расслабленные мышцы, он ни о чем не думал, он только смотрел в пустоту рощи, ощущая в себе изнуряющую, охватившую тело усталость, преодолеть которую, казалось, не было никакой возможности.

Так продолжалось немало времени, но роща по-прежнему оставалась пустой и ненужной, и лейтенант в конце концов вынужден был встряхнуться: все-таки его ждали бойцы. Прежде всего Пивоваров. Ивановский оглянулся — боец терпеливо сидел за оврагом, там, где он и оставил его, и лейтенант взмахнул рукой — давай, мол, сюда.

Пока Пивоваров шел по его следу к рощице, Ивановский расстегнул крепление лыж и шагнул в снег. Наверно, тут можно было не опасаться, в пустом сосняке никого не было. Он присел на невысокий, обсыпанный снегом пенек, вытянул в сторону ногу. Надо было решать, что делать дальше. А главное — сообразить, как эту неудачу объяснить бойцам. Он не мог отделаться от чувства какой-то своей вины, как будто именно он придумал всю эту историю с базой и кого-то обманул. Хотя если разобраться, так больше других был обманут он сам. А вернее, всех обманули немцы.

Впрочем, здесь не было обмана, здесь была война, а значит, действовали все ее ухищрения, использовались все возможности — в том числе время, которое сработало в пользу немцев, оставив Ивановского с бойцами в безжалостном проигрыше.

Пивоваров тихо подошел по его лыжне и молча остановился напротив. Боец непонимающе оглядывал рощицу, изредка бросая на лейтенанта вопросительные взгляды. Наконец он догадался о чем-то.

— А что... Разве тут была?

— Вот именно — была.

— Холеры! Увезли, что ли?

— Увезли, конечно! — Ивановский вскочил со своего пенька.— Оставили нас с носом!

К удивлению лейтенанта, Пивоваров очень сдержанно отреагировал на его запальчивые, полные горечи слова.

— Видно, опоздали...

— Разумеется. Две недели прошло. Времечко!

— Теперь как же? Придется искать?

— Что искать?

— Ну, базу. Приказ ведь.

Да, базы не было, но приказ уничтожить ее оставался в силе. Давно ли лейтенант сам добивался

в штабе этого приказа, который наконец и получил на свою невезучую голову. Что ж, теперь давай выполняй приказ, лейтенант Ивановский, ищи базу, зло подумал про себя лейтенант. Однако тон, которым Пивоваров упомянул о приказе, все-таки понравился лейтенанту, и в душе он даже обрадовался. В случае чего, наверно, бойцам долго объяснять не придется — если это понимал Пивоваров, то, наверно, поймут и остальные.

Беда, вначале готовая сокрушить лейтенанта, понемногу стала рассеиваться, хотя, разумеется, он понимал, что справиться с ней непросто. По всей видимости, базу переместили на восток, поближе к линии фронта, к Москве,— там ее и следовало искать. Если идти вдоль шоссе, обшаривая каждую рощицу, возможно, и удастся наткнуться. Но тут он вспомнил о тех, за дорогой, о раненом Хакимове и подумал, что, видно, искать ее не придется. Наверно, это потребовало бы массу времени, уйму сил, гораздо больших припасов, чем те, которыми располагали они. Опять же далеко ли уйдешь с Хакимовым. Да и мудрено, не зная, отыскать в чащобе лесов замаскированный, тщательно охраняемый объект, ставший теперь для них не более иголки, затерянной в копне сена. Впрочем, вполне может случиться, что ее и вообще уже нет — развезли по частям и расстреляли в боях, все до последней мины.

Тогда что ж — возвращаться с неизрасходованной взрывчаткой, не истратив ни одной гранаты? Опять тащить на себе чертовы бутылки с КС и дрожать, чтобы какой-нибудь фриц, пустив сдуру очередь, ненароком не задел их пулей. И это — потеряв половину группы. С тяжелораненым в волокуше. И в итоге в таком отвратительном виде полного неудачника предстать перед пославшим его генералом. Что лейтенант скажет ему?

— Да-а, положеньице...

Ивановский зачерпнул горсть снега, пожевал и сплюнул. Как всегда после бессонной ночи, во рту долго не проходил противный металлический привкус. Почему-то слегка поташнивало. И даже вроде знобило. Хотя знобило, возможно, от усталости и потери крови.

— У тебя бинт есть? — спросил лейтенант Пивоварова. Тот, сняв варежку, начал ощупывать брючные карманы, а лейтенант поднялся с пенька.

— Давай помоги вот,— сказал он, расстегнув брюки и думая, что теперь уж не имеет большого смысла скрывать нелепое свое ранение.

— Что, ранило?

— Зацепило ночью. Вот черт, все сочится...

Не удивительно, что Пивоваров испугался: белые кальсоны лейтенанта и его ватные брюки — все было густо залито и перепачкано подсохшей кровью. С внешней стороны бедра из небольшой касательной ранки быстро сползла к колену темно-бурая струйка крови.

— Давай! Обмотай. Да потуже.

— Доктора надо.

— Какой еще доктор! Вот ты и будешь доктором.

Было видать, что Пивоваров встревожился ранением командира больше, чем исчезновением базы. Присев рядом, боец не очень умело обмотал бинтом ногу и крепко связал концы собачьим узлом.

— Не сползла чтоб.

— Ладно. Пока подержится.

Старый окровавленный бинт Ивановский отбросил на снег, подтянул брюки, завязал тесемку перепачканных маскировочных шаровар. Пивоваров пристегивал лыжи. Судя по его вполне спокойному виду, неудача с базой никак не отразилась на его настроении, и лейтенант в душе позавидовал выдержке

бойца. Впрочем, бойцу что — с бойца спрос невелик.

— Что вот теперь хлопцам сказать? — озабоченно спросил командир, почувствовав желание посоветоваться, чтоб хоть как-то разрядить свою подавленность.

— А так и сказать. Что ж такого,— просто ответил Пивоваров.

— Что немцы нас провели?

— Ну а что ж! Раз провели, значит, провели.

— Да, видно, ты прав,— подумав, сказал лейтенант.— Надо по правде. Только куда вот дальше?

— А вы посмотрите на карту,— посоветовал боец.

Святая простота. Пивоваров, видимо, полагал, что на военной карте все обозначено. Точно так же считали, бывало, и деревенские тетки, глядя, как командир разворачивает карту, и удивлялись, когда тот спрашивал, как называется эта деревня или сколько километров до города. Видно, так думал теперь и Пивоваров.

Впрочем, лейтенант нервничал и, кажется, начинал злиться, все-таки болела потревоженная рана и было отвратительно на душе. Он все еще не имел ясного представления о том, что предпринять. Он невидяще глядел вниз, на покатое белое поле с дальним кустарником, пока мысль о бойцах, оставленных за дорогой, не подогнала его, побуждая к действию.

Тогда он оттолкнулся палками и быстро пошел прежней лыжней вниз.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пока пробирались знакомой дорогой в кустарнике, Ивановский, не столько успокоясь, сколько привыкая к своей неудаче, пытался разобраться в себе

и решить, как действовать дальше. Конечно, исчезновение базы делало ненужной всю его вылазку, и было до слез обидно за все их напрасно потраченные усилия. Жаль было погибших ребят, умирающего Хакимова, но теперь его все больше начал донимать вопрос, как эту свою неудачу объяснить в штабе. Слишком уж врезались в память лейтенанта их совсем не военные проводы, короткое генеральское напутствие во дворе дома с высокими ставнями... Сынки! Вот тебе и «сынки»! Раззявы, растяпы чертовы, пока собирались, пока плутали в ночи, пока дрыхли во рву, база бесследно исчезла.

Противное положение, ничего больше не скажешь, думал Ивановский, непрестанно морщась как от зубной боли. Он уже не уклонялся от колючих ветвей кустарника — шел напролом, чуть только сгибаясь, и думал, что лучше бы генерал отругал его в самом начале да отправил на проверку в Дольцево, чем вникать в тот его злосчастный доклад. А уж если было принято такое решение, то лучше бы начштаба жестко приказал ему относительно этой базы или даже пригрозил трибуналом на случай невыполнения приказа, чем так вот: сынки, на вас вся надежда. Что ему делать теперь с этой надеждой? Куда он с ней? Эта безотрадная мысль ворошила, будоражила его сознание, не давала примириться с неудачей и побуждала к какому-то действию. Но что он мог сделать?

Перейти шоссе снова оказалось непросто — еще издали стала видна сплошная лавина запрудивших его войск — шла, наверно, какая-то пехотная часть — колонны устало бредущих солдат, брички, повозки, изредка попадались верховые; во втором ряду ползли машины и тягачи с пушками на прицепе. Густой этот поток безостановочно двигался на восток, к Москве, и у лейтенанта в недобром предчув-

ствии сжалось сердце — опять! Опять, наверное, наступают, возможно, прорвали фронт... Бедная столица, каково ей выстоять против такой силы! Но, наверно, найдется и у нее сила, должна найтись. Иначе зачем тогда столько крови, столько безвременно отданных за нее жизней, столько человеческих мук и страданий — есть же в этом какой-нибудь смысл. Должен ведь быть.

Вот только у него смысла получилось немного — хотя в этой мучительной ночи он отмахал шестьдесят километров, но база оттого не стала ближе, чем была вчера. Может, еще и дальше, потому что вчера у него была полная сил группа, неистраченная решимость, а что осталось сегодня? Даже у него самого, что ни говори, убыло силы, а главное — вместе с базой пропала прежняя ясность цели — он просто не знал, что предпринять и куда податься.

Впрочем, сначала нужно было пробраться к своим.

И они с Пивоваровым, подхватив в руки лыжи, снова сползли с откоса на дно все того же противотанкового рва. Дальше идти к шоссе стало небезопасно, они затаились за очередным земляным изломом, изредка выглядывая из-за него на открывшийся участок дороги. Часто выглядывать не имело смысла — колонна войск тянулась там без конца и начала — перейти шоссе в такое время нечего было и думать. Значит, опять надо было ждать. И лейтенант принялся покорно коротать время на стуже, почти в отчаянии, в полукилометре от немцев. Теперь недавнего нетерпения не было, он готов был сидеть здесь до ночи, все равно днем никуда нельзя было сунуться. К тому же он еще не принял ровно никакого решения и не знал, куда направиться — дальше или, может, следовало возвращаться за линию фронта к своим. С Пивоваровым он почти не разго-

варивал — разговор помешал бы слушать, а слух теперь был их единственной защитой в этом бесконечном, заметенном снегом противотанковом рву. Ивановский время от времени доставал из кармана свои часы, которые лишь свидетельствовали, как безостановочно и быстро шло время. Приближалась студеная зимняя ночь. Невзирая на холод, очень хотелось спать. Наверно, только теперь лейтенант почувствовал, как изнемог он за этот ночной бросок. Напряжение, ни на минуту не оставлявшее его несколько дней подряд, постепенно спадало, незаметно для себя он даже вздремнул, прислонившись спиной к морозному снежному склону, и вдруг зябко прохватился от тихого голоса Пивоварова:

— ...а товарищ лейтенант! Проходят, кажется.

— Да? Проходят?

Пристроившись на откосе и высунув из-за насыпи голову, боец наблюдал за дорогой, голос его прозвучал обнадеживающе, и лейтенант тоже взобрался на откос. Шоссе действительно освобождалось от войск — последние повозки медленно удалялись на восток. Наверно, надо было бежать к пригорку.

Они подхватили лыжи и трусцой побежали по дну рва, ступая в глубокие, еще не заметенные снегом свои следы. Им опять повезло, они вовремя выбрались на укатанную пустую дорогу и, перебежав ее, снова скрылись во рву. Пока бежали, основательно прогрелись, у Ивановского вспотела спина, а у Пивоварова опять густо заплыло потом лицо — со лба по щекам стекали крупные, будто стеариновые, капли. Тяжело дыша, боец размазывал их рукавом маскхалата, но нигде не отстал, не замешкался, и Ивановский впервые почувствовал дружеское расположение к нему. Слабосильный этот боец проявлял, однако, незаурядное усердие, и было бы несправедливым не оценить этого.

За первым изгибом рва, на пригорке, Ивановский замедлил шаг и несколько раз с облегчением выдохнул жарким паром. Кажется, опять пронесло. Откуда-то издали послышалось урчание дизелей, но это его не беспокоило. Его мысли уже устремились вперед, туда, где их возвращения ждали четверо его бойцов, и первой тревогой лейтенанта было: как там Хакимов? Конечно, глупо было бы ждать, что тот очнется и встанет на ноги, но все-таки... А вдруг он скончался? Почему-то подумалось об этом без должного сожаления, скорее напротив — с надеждой. Как бы все было проще, если бы Хакимов умер, как бы тем самым он услужил им. Но, видно, это не в его власти.

Где-то совсем близко, во рву, были его бойцы, и лейтенант прислушался, казалось, он уловил чей-то негромкий голос, как будто Краснокуцкого. Лейтенант вышел из-за очередного излома и неожиданно лицом к лицу встретился с Дюбиным. Очевидно, заслышав его приближение, старшина обернулся и с напряженным вниманием на буром лице взглянул в глаза лейтенанту. Неподалеку у откоса сидели в снегу Лукашов, Краснокуцкий, Судник, а возле волокуши с Хакимовым, горестно сгорбившись, застыл во рву Заяц.

Все повернулись к пришедшим, но никто не сказал ни слова; лейтенант, тоже молча и ни на кого не взглянув, прошел к волокуше.

— Что Хакимов?

— Да все то же. Бредит,— сказал Лукашов.

— Воды давали?

— Как же — воды? В живот ведь.

Да, по-видимому, в живот. Если в живот, то воды нельзя. Но что же тогда можно? Смотреть, как он мучается, и самим тоже мучиться с ним?

Лейтенант вгляделся в бледное лицо Хакимова

со страдальческим изломом полураскрытых, иссохших губ — боец едва слышно постанывал, не размыкал век, и было неясно, в сознании он или нет.

— Надо бы полушубком укрыть,— сказал издали Дюбин. Ему раздраженно ответил Лукашов.

— Где ты возьмешь полушубок?

— Ну погибнет.

— Давно пришел? — не оборачиваясь от Хакимова, спросил Ивановский.

— Час назад,— сказал Дюбин и кивнул в сторону Зайца.— Вон из-за него — лыжу сломал.

— Каким образом?

— Да как лес обходили,— сказал Заяц.— На какую-то кочку попал, хрясь, и готова. Не виноват я...

Наверное, в другой раз было бы нелишне как следует отчитать этого Зайца, дважды подведшего группу, но теперь Ивановский смолчал. То, что Дюбин догнал остальных, слегка обрадовало его, хотя радость эта сильно омрачалась общей их неудачей. Лейтенант намеренно старался отмолчаться, не заводить о том разговор, он просто боялся того момента, когда обнаружится, что этот их сумасшедший ночной бросок был ни к чему. Но долго отмалчиваться ему не пришлось, хотя весь его сумрачный вид никак не располагал к разговору, и это видели все. Тем не менее вопрос о базе, видно, томил и других, а рядом во рву сидел, отдыхая, простодушный молодой Пивоваров, к которому теперь и устремились взоры остальных.

Первым не выдержал Лукашов.

— Ну что там? Немцев много? — тихо спросил он за спиной лейтенанта.

— А нету немцев. Склада тоже нет,— легко ответил Пивоваров.

— Как нет?

Лейтенант внутренне сжался.

Он не видел, но почти физически почувствовал, как встревоженно замерли за его спиной лыжники, и, долго не выдержав, сам поднялся на ноги.

— Как нет, лейтенант? Это что — в самом деле? — поднялся вслед за ним Лукашов. Все остальные в крайнем удивлении, почти с испугом смотрели на командира.

— Да, базы нет. Наверно, перебазировалась в другое место.

Стало тихо, никто не сказал ни слова, только Краснокуцкий сквозь зубы сплюнул на снег. Заяц все еще недоумевающе глядел в лицо Ивановскому.

— Называется, городили огород! Плели лапти,— бросил в сердцах Лукашов.

— Что поделаешь! — вздохнул Краснокуцкий.— На войне все случается.

— А может, ее там и не было? Может, она где в другом месте? — недобро засомневался Лукашов, по-прежнему стоя обращаясь к лейтенанту.

— Там была,— просто ответил ему Пивоваров.— Столбы вон остались. Без проволоки только.

Лейтенант отошел от волокуши, скользнув взглядом по Суднику, который с бруствера напряженно смотрел в ров. Командир старался не видеть Лукашова, но он чувствовал, как недобрая, злая сила распирала старшего сержанта, и тот готов был начинать ссору.

— А что, и следов никуда нет? — со спокойной деловитостью спросил Дюбин.

— Ничего нет,— сказал Ивановский.

— Что же получается... Как же так? — не унимался Лукашов.— Кто-то виноват, значит.

Лейтенант резко обернулся к нему.

— Это в чем виноват?

— А в том, что понапрасну этак выкладывались! Да и люди погибли...

— Так вы что предлагаете? — осадил его лейтенант резким вопросом.

Он не мог начинать с ним спор, так как знал, что в этом их напряжении недалеко до ссоры, к тому же он не мог не чувствовать, что в значительной степени старший сержант прав. Но зачем теперь много говорить об этом, без того было тошно, каждый переживал эту неудачу. К тому же в таких случаях в армии было непозволительно выражать свое недовольство или возмущение — подобное всегда пресекалось с наибольшей строгостью.

Лукашов же загорячился, глаза его зло блестели, одутловатое в щетине лицо стало недобрым.

— Что мне предлагать? Я говорю...

— Помолчите лучше!

Старший сержант умолк и отошел в сторону, а лейтенант опять сел в снег. Разговор был не из приятных, но что-то томившее его с утра разом спало, как-то само собой все разрешилось, хотя, может, и не самым наилучшим образом. К нему больше не обращались, наверно, видели, что теперь он знает не больше остальных. Бойцы молча ждали новой команды или решения, как быть дальше, и он, поняв это, достал из-за пазухи карту. Он попытался все же что-то найти на ней, что-то решить про себя, пытался понять, куда с наибольшей вероятностью могла переместиться эта проклятая база. Но сколько он ни вглядывался в карту, та не ответила ни на один из его вопросов, красная линия шоссе скоро убегала за ее край, соседнего же листа у него не было. И здесь, а наверное, и дальше удобных для складов мест была пропасть: в лесках, перелесках, овражках. Где ее искать?

Он так сидел долго и молчал, не убирая с колен разложенной карты, по которой снежной крупой шуршал ветер. Он уже ничего не рассматривал на

ней — просто ушел от ненужных теперь разговоров с бойцами, их вопрошающих взглядов. Он чувствовал, что незамедлительно нужно что-то решить, как только стемнеет, отсюда надо убираться. Только куда?

— Подмените Судника. Небось закоченел на ветру,— ни к кому не обращаясь, сказал лейтенант, когда почувствовал, что недоброе молчание в группе слишком затянулось.— Заяц!

Заяц сразу же встал и начал взбираться на бруствер, а Судник, обрушивая снег, на заду сполз в ров. Поднятое им снежное облако обдало Дюбина, который заворошился и встал на ноги.

— Так что же дальше, командир? — спросил он.

— Что именно? — сделал вид, будто не понял, Ивановский, хотя он отлично понимал, что беспокоит старшину.

— Куда дальше пойдем?

— Вы пойдете назад,— просто решил командир.

— Как? Я один?

— Вы и остальные. Попытайтесь спасти Хакимова.

— А вы?

— Я? Я попробую отыскать базу.

— Один?

Этот вопрос старшины Ивановский оставил без скорого ответа. Он не знал, пойдет ли один или с кем еще, но что надо продолжить поиски, это он вдруг понял точно. Он не мог возвратиться ни с чем, такое возвращение было выше его возможностей.

— Нет, не один. Кто-то еще пойдет.

— В самом деле? А может, я, лейтенант? — сказал Дюбин, как бы испытывая себя своею решимостью. Но лейтенант молчал.

Ивановский напряженно додумывал то, чего не додумал раньше. Конечно, выход для него возможен

только такой, он не мог рисковать всеми, его люди сделали все, что должны были сделать, и не их вина, что цель оказалась недостигнутой. Далее начинался особый счет его командирской чести, почти личный его поединок с немецкой уловкой, и бойцы к этому поединку не имели отношения. Тем более что шансы на успех пока были неясны. Отныне он станет действовать на свой страх и риск, остальные должны возвратиться за линию фронта.

Лейтенант поднял от карты лицо и прямо посмотрел на Дюбина. Иссеченное преждевременными морщинами, темное от стужи лицо старшины было спокойно, взгляд из-под маленького козырька краснозвездной буденовки спокойно-выжидателен и ненавязчив, он как бы говорил сейчас: возьмешь — хорошо, а нет — напрашиваться не стану. И лейтенанту почти захотелось взять с собой старшину, наверно, лучшего напарника здесь не сыскать. Но тогда старшим в отходящей группе он должен назначить Лукашова, а он почему-то не хотел этого. Лукашова он уже немного узнал за время этого их пути сюда, и в душе командира появилось устойчивое предубеждение против него.

Значит, с группой должен остаться Дюбин.

Их очень немного возвращалось назад, на их попечении был трудный Хакимов, обратный их путь вряд ли окажется легче пути сюда, а лейтенанту очень хотелось, чтобы они по возможности благополучно дошли до своих. В этом смысле разумнее всего было положиться на опытного, уравновешенного старшину Дюбина.

— Нет, старшина,— сказал лейтенант после продолжительной паузы.— Поведете остальных. Со мной пойдет... Пивоваров.

Все с некоторым удивлением повернули головы в сторону прилегшего на бок Пивоварова, который

при этих словах лейтенанта вроде засмущался и сел ровно.

— Так, Пивоваров?

— Ну,— просто ответил тот, вспыхнув и сморгнув белесыми ресницами.

— Ну и лады,— сказал лейтенант, довольный тем, что все так скоро уладилось.

Потом он не раз будет спрашивать себя, почему его такой важный выбор так неожиданно для него самого, почти бессознательно пал на этого молодого бойца? Почему бы в помощники себе не выбрать сапера Судника или рослого, сильного Краснокуцкого? Неужели безропотная покорность слабосильного паренька единственно определила его решение? Или тут повлиял на него их сегодняшний совместный бросок через шоссе, где они вдвоем пережили опасность и первое общее для всех разочарование.

Тем не менее выбор был сделан, Пивоваров как-то враз подобрался, помрачнел или посерьезнел и тихо сидел в истоптанном снежном сугробе.

— Что ж, ваше дело,— сказал Дюбин.— Как там передать, в штабе?

— Я напишу,— подумав, сказал Ивановский.

Бумаги, однако, у него не нашлось, был только трофейный карандаш с выдвижным сердечником, пришлось старшине вырвать листок из замусоленного своего блокнота, на котором лейтенант, недолго подумав, написал:

«Объекта на месте не оказалось. Группа понесла потери, отправляю ее обратно. Сам с бойцом продолжаю поиски. Через двое суток предполагаю вернуться. Ивановский. 29.11.41 г.».

— Вот. Передадите начальнику штаба.

— Это самое, гранаты возьмете?

— Да. Гранату и пару бутылок. Пивоваров, возьмите у Судника бутылки. Гранату давайте мне.

Старшина снял с пояса противотанковую гранату, которую лейтенант тут же подвязал тесемкой к ремню.

— И подрубать бы запастись надо?

— Подрубать тоже. Дайте сухарей. Консервов пару банок. Сами-то уж в АХЧ завтракать будете.

— Дал бы бог,— вздохнул Краснокуцкий.

— Только смотрите при переходе. Как бы опять не напоролись. Не жалейте животов — головы целее будут.

— Это понятно,— тихо согласился Дюбин.

— Ну, вроде темнеет, можете двигать. А мы еще посидим тут. Как там на шоссе, Заяц?

— Какая-то с фарами катит. Одна или больше — хорошо не видать.

Старшина завязал вещевой мешок, Пивоваров складывал в свой сухари и две большие, завернутые в портянки бутылки с КС. Лукашов и Краснокуцкий, не ожидая команды, подступили к обсыпанному снежной пылью Хакимову.

— Смотрите Хакимова,— сказал лейтенант Дюбину.— Может, еще дотянет до утра.

— О чем разговор!..

— Тогда все. Топайте!

— Что ж, счастливо, лейтенант,— обернулся Дюбин и тут же скомандовал бойцам: — А ну взяли! За лыжи, за лыжи берите. Поднимайте. Выше, еще выше. Вот так...

Они подняли Хакимова и с трудом выбрались из рва. На бруствере Дюбин еще оглянулся — прощание вышло второпях, скомканным, и Ивановский махнул рукой:

— Счастливо.

Когда они скрылись там и последним исчез за бруствером высокий капюшон старшины, Ивановский сел в снег. Он почувствовал особенное удовлет-

ворение оттого, что Дюбин не пропал окончательно, догнал группу и теперь с теми, кто возвращался, будет толковый и человечный командир, который должен их привести к своим. А они здесь как-нибудь справятся вдвоем с Пивоваровым, который все еще стоял во рву, глядя поверх высокого бруствера. Чтобы разрушить неловкость, вызванную этим прощанием, лейтенант сказал с несвойственной для него словоохотливостью:

— Садись, Пивоварчик, отдохнем. Тебя как звать?

— Петр.

— Петька, значит. А меня Игорь. Ну что ж, может, нам еще повезет? Как думаешь?

— Может, и повезет,— неопределенно сказал Пивоваров, потирая ложу винтовки, и вздохнул тихонько и прерывисто.

— Ладно, пока есть время, давай подрубаем, меньше нести будет,— сказал Ивановский, и Пивоваров, присев, начал развязывать вещевой мешок.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Спустя полчаса, когда хорошо притемнело, они выбрались из своего снежного укрытия. Оба продрогли, сильно озябли ноги, хотелось сразу пуститься на лыжах, чтобы согреться. Но прежде надо было оглядеться. К ночи движение на шоссе поубавилось, шли одиночные машины, у некоторых слабо светились подфарники. Вокруг было тихо и пусто; снежные дали с перелесками затянуло вечернею мглой, облачное беззвездное небо низко нависло над снежным ночным пространством. Ивановский решил идти на восток вдоль шоссе, не выпуская его из виду и следя за движением на нем; он думал, что, как и в тот раз, осенью, базу должны выдать машины.

Они скоро спустились со своего пригорка, по рыхлому снегу перешли лощину. Двадцати минут ходьбы вполне хватило на то, чтобы согреться и даже слегка устать. Что ни говори, а сказывалась прошедшая ночь. К тому же в отличие от вчерашнего Ивановский сразу почувствовал на ходу, что раненая нога стала болеть сильнее, невольно он двигал ею осторожнее, больше нажимая на левую. Правда, он все же старался привыкнуть к этой своей боли, думал, как-нибудь обойдется, разойдется, авось нога не подведет. Но, поднявшись на очередной пригорок, лейтенант почувствовал, что надо отдохнуть. Он слегка расслабил ногу, перенеся тяжесть тела на здоровую, и, чтобы подошедший Пивоваров ничего не заподозрил, сделал вид, что осматривается, хотя осматриваться не было надобности. Шоссе находилось рядом, оно лежало пустое, впереди мало что было видно: сильный восточный ветер упруго дул в лицо, от него слезились глаза.

— Ну как, Пивоварчик? — нарочито шутливым голосом спросил лейтенант.

— Ничего.

— Согрелся?

— О, упарился даже.

— Ну давай дальше.

То и дело поглядывая по сторонам, они прошли еще около часа, обошли край рощи, сосняк, какие-то постройки у дороги — после вчерашнего обстрела с хутора Ивановский старался держаться от жилья подальше. Шоссе почти всюду шло прямо, без поворотов, это облегчало ориентировку, и лейтенант только изредка поглядывал на компас — проверял направление. Настроение его вроде бы даже улучшилось, Пивоваров шел по пятам, не отставая ни на один шаг, и лейтенант, остановившись в очередной раз, спросил с некоторой живостью в голосе:

— Пивоварчик, что ты в жизни видал?

— Я?

— Да, ты. В жизни, говорю, что видал?

Пивоваров пожал плечами.

— Ничего.

— Книжек ты хоть почитал?

— Книжек почитал,— не сразу, словно бы вспоминая, ответил боец.— Весь Жюль Верн, Конан Дойл, Вальтер Скотт, Марк Твен...

— А Гайдар?

— И Гайдар. И еще Дюма все, что достал, прочитал.

— Ого! — удивился лейтенант и даже с некоторым уважением поглядел на Пивоварова.— И когда ты успел столько?

— А я заболел в шестом классе и полгода не учился. Ну и читал. Все перечитал, что в библиотеке нашлось. Мне из библиотеки носили.

Да, наверно, это было здорово — проболеть полгода и прочитать всю библиотеку. Сколько Ивановский мечтал заболеть в детстве, да и в училище, но больше трех дней ему проболеть не удавалось. Здоровье у него всегда было хорошее, и читал он немного, хотя хорошие книги всегда вызывали в нем прямо-таки душевный трепет. И лучше Гайдара ему в своей жизни ничего читать не пришлось. И то в детстве. Потом стало не до литературы — пошли книги другого характера.

Вокруг по-прежнему было тихо, в общем, спокойно, как бывает спокойно лишь в значительном удалении от передовой. Ивановский шел теперь без вчерашней горячки, превозмогая заметную тяжесть в ногах и во всем теле и непроходящую, связывающую каждое движение боль в ране. Правда, боль пока была терпимой. Чтобы не сосредоточиваться на ней, лейтенант старался отвлечься чем-то другим,

посторонним. То и дело его мысли уносились к бойцам, что теперь под началом Дюбина возвращались к своим. Наверно, уже идут вдоль реки, поймой. Хорошо, если не занесло лыжню, она поможет сориентироваться. Впрочем, Дюбин, наверно, и без того запомнил дорогу, а в случае чего — выручит карта. Карта на войне — ценность, жаль только, что не всегда хватает этих самых карт. Все время думалось, как там Хакимов? Конечно, намучаются с ним, не дай бог. Особенно при переходе линии фронта. Теперь с ним не вскочишь, не рванешь на лыжах, надо все ползком, по-пластунски. Хоть бы прошли. Но Дюбин, наверно, сумеет, должен пройти. Дюбин же и объяснит начальнику штаба их неудачу, как-то оправдается за группу и за ее командира. Хотя при чем командир? Кто мог подумать, что за каких-нибудь десять дней все так изменится и немцы переместят базу.

Лично себя Ивановский не считал виноватым ни в чем, кажется, он сделал все, что было в его возможностях. Тем не менее какой-то поганый червячок виноватости все же шевелился в его душе. Похоже, все-таки лейтенант недосмотрел в чем-то и в итоге вот не оправдал доверия. Именно это неоправданное доверие смущало его больше всего. Теперь лейтенант прямо съеживался при мысли, что из этой его затеи вдруг ничего не выйдет.

Ивановский очень хорошо знал, что значит так вот, за здорово живешь, испохабить хорошее мнение о себе. Однажды уже случилось в его жизни, что, злоупотребив доверием, он так и не смог вернуть доброе расположение к себе человека, который был ему дорог. И никакое его раскаяние ровно ничего не значило.

Незадолго перед тем Игорю исполнилось четырнадцать лет, и он пятый год жил в Кубличах — не-

большом тихом местечке у самой польской границы, где в погранкомендатуре служил ветврачом его отец. Развлечений в местечке было немного, Игорь ходил в школу, дружил с ребятами, большую часть времени, однако, пропадая на комендантской конюшне. Лошади были его многолетней, может, самой большой привязанностью, всепоглощающим увлечением его отрочества. Сколько он перечистил их, перекупал, на скольких он переездил верхом — в седле и без седел. Года три подряд он не замечал ничего вокруг, кроме своих лошадей, каждый день после уроков бежал на конюшню и уходил только для сна, чтобы назавтра к приходу дежурного снова быть там. Пограничники иногда шутили, что Игорь — бессменный дневальный по конюшне, и он бы с удовольствием стал таковым, если бы не уроки в школе.

На конюшне всегда была масса интересного, начиная от кормежки и водопоя, чистки скребком и щеткой и кончая торжественным ритуалом выводки с построением, суетой красноармейцев, придирчивостью большого начальства, носовыми платками проверявшего чистоту конских боков. Было что-то безмерно увлекательное в выездке, верховой езде, занятиях по вольтижировке, и, конечно же, совершенно захватывала его рубка лозы на плацу за конюшней, когда вдоль ряда стояков с прутьями во весь опор скакали кавалеристы, направо и налево срубая клинками кончики лозовых прутьев. А чего стоила джигитовка самого лихого наездника в отряде знаменитого лейтенанта Хакасова!

Но выводку, рубку, джигитовку он наблюдал со стороны, сам по малости лет в них не участвуя,— его не пускали в строй и даже ни разу не позволили проехаться с шашкой. Другое дело — купание. На луговом бережку озера, у песчаной отмели, стояла старая изгрызенная коновязь, и почти каждый горя-

чий полдень к ней приводили потных, истомленных, рвущихся в воду лошадей. Начиналось купание, и тут уж Игорь Ивановский отводил душу, плескаясь до тех пор, пока последняя лошадь не выходила из озера.

Обычно он приезжал на Милке — молодой рыжей кобыле с тонконогим играстым жеребенком. Милка была закреплена за командиром отделения Митяевым, с которым у Игоря сложились какие-то совершенно особые, может, даже необычные между пацаном и взрослым человеком отношения. Этот Митяев хотя и служил срочную, но в отличие от других двадцатилетних бойцов-пограничников казался Игорю почти стариком, с изрезанным морщинами лицом, тяжелой походкой и медлительностью пожилого деревенского дядьки. Родом Митяев был из Сибири, дома у него остались взрослые дочки, и он давным-давно должен был бы призваться да и отслужить свою службу, если бы не какая-то путаница в документах, утверждавших, что Митяеву всего двадцать два года. Как это получилось, не мог объяснить и сам Митяев, который только ругал какого-то пьяного дьячка в церкви, по чьей милости ему приходилось служить с теми, кто годился ему в зятья.

Лошади для Митяева не были в новинку, наверно, за свой век он перевидел их множество и охотно доверял свою Милку расторопному сыну ветеринара. Игорь кормил ее, чистил, мыл и выгуливал, в то время как Митяев учил да похваливал, а то и просто, потягивая свою цигарку, отдыхал в курилке. Случалось, что он заступался за своего помощника перед его отцом, когда тот пробирал сына за длительное отсутствие, из-за чего, разумеется, не могли не страдать уроки. Отношения у него с Митяевым, в общем, сложились такие, что лучших не пожелаешь, и отец не раз говорил, что этот сибиряк, наверно, заменит

ему родителя. Игорь не возражал, он считал, что Митяев в самом деле лучше отца, не жившего с матерью, любившего выпить и вовсе не баловавшего вниманием своего самопаса-сына.

Однажды обычная возня с лошадьми на озере была нарушена небольшим событием — в купальню привезли лодку. Привез ее на пароконной повозке старшина Белуш, он же опробовал ее на воде и сказал, что лодка принадлежит самому коменданту Зарубину и что никто не смеет притронуться к ней пальцем. Чтобы гарантировать ее сохранность, Белуш пристроил цепь и примкнул лодку к стояку коновязи. Неизвестно по какой причине лодка почти все лето пролежала на берегу. Зарубин ею не пользовался, и местечковые мальчишки сгорали от такого понятного в их возрасте желания поплавать на ней по озеру.

Как-то под вечер, когда лошади были уже выкупаны и стояли на привязи, а дневальные ушли в комендатуру за обедом, Игорь взял прихваченные из дому удочки и пошел на протоку половить окуней. Клевало, однако, плохо, и он уже собрался было перейти на другое место, как из ольшаника вылезли Колька Боровский и Яша Финкель, школьные его приятели. После недолгого разговора они дали понять, что есть возможность «стырить» комендантову лодку и сплавать к другому берегу, где синел большой хвойный лес и где никто из них еще не был. Игорю эта затея показалась весьма заманчивой, кого из местечковых ребят не привлекал тот берег, но добраться к нему было трудно — на пути лежало топкое с провалами болото в устье протоки, в которой, говорили, жил водяной. Было соблазнительно завладеть лодкой, но у коновязи оставался дежурный Митяев, отвечавший за эту лодку перед самим капитаном Зарубиным. Когда Игорь сказал об этом ребя-

там, те заухмылялись. Оказывается, они уже высмотрели, что Митяев спал под кустом на попоне, а что касается замка, то Колька тут же выложил перед Игорем большой ключ от отцовского дровяного сарая, запиравшегося в точности таким же замком, как и зарубинская лодка. Игорю ничего более не оставалось, как взять этот ключ и легко и просто отомкнуть замок лодки.

Весел у них не было, нашелся лишь длинный еловый шест, они тихонько стащили лодку на отмель и попрыгали в нее. Сначала отпихивались шестом, потом начали грести руками, кое-как лодка выплыла на середину, и тут обнаружилось, что она рассохлась на берегу сверх меры, и сквозь ее борта ручьями полилась вода. Выливать воду было нечем, они попытались выплескивать ее горстями, но лодка все больше уходила кормой под воду, и вскоре ребятам пришлось в спешном порядке покинуть судно. Вдоволь нахлебавшись теплой воды, они кое-как добрались до берега. Лодка же медленно затонула.

Митяев у коновязи спал так крепко, что ничего не услышал, а ребята высушились в укромном местечке и к вечеру разошлись по домам. Назавтра, разумеется, начались поиски пропажи, оказалось, кто-то видел возле купальни местечкового дебошира Темкина, на которого тут же и составили протокол. Пытались допросить также и Игоря, бывшего с утра у коновязи, но дежурный Митяев не мог себе даже представить своего любимца в роли похитителя и поручился за него. И когда день спустя Игорь скрепя сердце все же признался Митяеву в своей виновности, тот сперва ему не поверил. Пришлось указать место, где неглубоко на илистом дне затонула лодка, которую скоро подняли и приволокли к берегу. Завидев ее, Митяев лишь сплюнул в песок и отошел в сторону, даже не взглянув на обожаемого своего

помощника. Их двухлетняя дружба на том и окончилась. До самой демобилизации Митяев не сказал парню ни единого слова, будто не замечал его вовсе, не отвечал на его приветствия, при встрече проходил мимо, даже не удостаивая его взглядом. Игорь не обижался, знал: это презрение было вполне им заслужено.

На их пути скоро оказался редкий молодой соснячок-посадка, они быстро прошли меж его ровных рядов, и вдруг оба враз замерли. На самой опушке, очевидно, была дорога, по которой теперь куда-то в сторону, медленно, вихляя по ухабам, ползли в темноте машины. Сначала Ивановскому показалось, что он сбился с пути и вышел на шоссе, но вскоре он понял, что это не шоссе вовсе, а, наверно, какой-нибудь съезд с него в сторону. Но почему на этом съезде машины?

Затаясь, он недолго постоял на опушке. Машины проходили совсем близко, передняя шла с включенными фарами, расхлябанно вихляя на неровностях крытым высоким кузовом. Следовавшие за ней три другие машины тоже были высокие и крытые: что они везли, невозможно было понять. Но то, что машины уходили в сторону от основной магистрали, наводило лейтенанта на некоторые обнадеживающие размышления. Не приближаясь к дороге, он свернул вдоль опушки следом за ними.

Теперь он шел совсем медленно, часто останавливался и вслушивался. Далекий утробный гул дизелей какое-то время еще был слышен, потом, заглушенный порывом ветра, как-то сразу затих. Ивановский поправил на себе то и дело сползавший ремень с тяжелой гранатой, оглянулся на Пивоварова. Тот был рядом, притихнув в предчувствии опасности и едва справляясь со своим дыханием.

— А ну посмотрим, что там. Ты приотстань чуток...

Пивоваров кивнул, поправляя за спиной винтовку, ремень от которой наискось перерезал его белую в маскхалате узкую грудь. Конечно, жидковат телом оказался его помощник, но тут и дюжий бы, наверное, сдал. Зашуршав по снегу лыжами, Ивановский пошел по опушке.

. Рощица скоро кончилась, впереди был ручей или речка с кустарником по берегам, Ивановский с заметным усилием уставшего человека перебрался через нее и еще прошел полем. Неожиданно для себя он увидел дорогу — две колеи, глубоко прорезанные в снегу автомобильными скатами. Чтобы не переходить ее и не потерять из виду, он вернулся назад и на некотором расстоянии пошел полем.

Деревня появилась неожиданно скоро — без единого звука, без проблеска света в серых сумерках вдруг выросла близкая крыша сарая, за ней следующая, и лейтенант тут же мысленно выругал себя за неосторожность — от деревни надо было держаться подальше. Он хотел было уже свернуть в сторону, как перед его взглядом за углом сарая промелькнуло характерное очертание гусеничного вездехода. Тут же было что-то и еще — непонятно громоздкое в сумраке, гибкий и тонкий шест от него торчал в небо, и, вглядевшись, лейтенант понял, что это антенна. Конечно, в деревне не могло быть никакой базы, зато вполне могло расположиться на ночлег какое-нибудь тыловое или маршевое подразделение немцев.

— Видал? — тихо спросил Ивановский напарника.

— Ну.

— Что это, как думаешь?

Пивоваров только пожал плечами, он не знал,

так же как не знал того лейтенант, который теперь обращался к нему как к равному. Будь у него хоть пять или десять бойцов, Ивановский никогда бы не позволил себе такого почти панибратства, но теперь этот Пивоваров был для него более чем боец. Он был первым его помощником, его заместителем и главным его советчиком — другого здесь взять было неоткуда.

Выбросив в сторону лыжу, Ивановский развернулся в поле, Пивоваров повернул тоже, они круто взяли в обход. Но, минуту пройдя по снежному полю, лейтенант остановился при мысли: а вдруг это какой-нибудь крупный немецкий штаб? Штаб им пригодился бы даже более, чем та злосчастная база, которую неизвестно где было искать в ночи.

Минуту он постоял на ветру в раздумье, соображая, что предпринять. Рядом ждал Пивоваров. Боец понимал, видимо, что командир решал что-то важное для обоих, и ждал этого решения со спокойной солдатской выдержкой. А Ивановский думал, что, конечно, было бы благоразумнее обойти это осиное гнездо, но, может, сначала стоило подкрасться поближе, разведать,— авось подвернется что-либо сподручное.

Пока они стояли в нерешительности, где-то в селе неярко вспыхнуло пятнышко света, что-то осветило на снегу и тут же потухло. Этот случайный проблеск ровно ничего не объяснил, но он указал в темноте направление, определенное место. Очевидно, там была улица, и лейтенант вдруг решил все-таки попытаться подойти к ней возможно ближе, чтобы понять, что там происходит.

— Так. Пивоварчик, приотстань. И потихоньку — за мной.

Пивоваров согласно кивнул, Ивановский, решительно оттолкнувшись палками, пошел к деревне.

Сначала на его пути появилась старая поломанная изгородь, через пролом в которой он проскользнул в огород и увидел в ночных сумерках какие-то жиденькие деревца с кустарником — похоже, на меже двух огородов. Он свернул к этим деревцам и под их прикрытием тихо пошел по неглубокому снегу в сторону мягко темневших силуэтов построек. Вокруг по-прежнему было тихо, холодновато, порывами дул ветер, в воздухе косо неслись негустые снежинки. Никаких определенных звуков сюда не долетало, но все же по каким-то необъяснимым приметам Ивановский угадывал присутствие в деревне посторонних, которыми теперь могли быть только немцы. Чувствуя, что вот-вот что-то ему откроется, он осторожно приближался к постройкам.

Совсем уже близко высилась заснеженная крыша сарая, возле кривобоко стоял подпертый жердями стожок. Деревца межевой посадки тут разом оканчивались, крайней в ряду была раскидистая грушка с толстоватым, заметным среди тонконогого вишняка стволом. Издали приметив ее, Ивановский подумал, что за этим грушевым комельком, по-видимому, надо присесть, подождать. Но он еще не дошел до грушки, как совершенно неведомо откуда подле стожка появилась какая-то фигура в распахнутой длинной одежде, и он, вздрогнув, смекнул: немец! Немец от неожиданности обмер, пристально вглядевшись в него, но тут же, видно, успокаиваясь, прокартавил издали:

— Es schien ein Russ...[1]

Ивановский ничего не понял и, наверно, чересчур резко дернул рукоятку висевшего на груди автомата. Затвор громко щелкнул в тишине. Немец, поняв свою

---

[1] Мне показалось — русский... (*нем.*).

сплошность, сдавленно, почти в ужасе вскрикнул и стремглав бросился по снегу от стожка — наискосок через огород, к соседнему дому. На секунду растерявшись, Ивановский присел и, кажется, очень вовремя: тут же от построек бахнул одиночный выстрел, пуля звучно щелкнула в намерзших ветвях кустарника. Но он уже был наготове и с колена коротко тыркнул по серому углу за изгородью, потом другой очередью — ниже, по беглецу, который уже вот-вот готов был скрыться в тени постройки. Последние его пули были, однако, излишними — немец сразу ткнулся головой в снег и застыл там; Ивановский, тут же выбросив левую лыжу на крутой разворот, схватил одну палку. Вторую впопыхах он уронил в снег и только нагнулся за ней, как в сумерках двора опять сверкнула красноватая вспышка, и он тихонько ахнул от глубокого, острого удара в спину. Сразу поняв, что ранен, вгорячах бешено рванулся на лыжах с этого огорода, туда, где ждал его Пивоваров.

Видно, замешкавшись, немцы подарили ему четверть минуты дорогого для него времени. Он уже проскочил половину межевой посадки, а они только начали выбегать откуда-то из дворов на огород. Кто-то закричал там повелительно и строго, и вот человек пять их пустились вдогонку. Он ясно увидел их, оглянувшись, и на секунду замешкался, соображая, остановиться ему, чтобы огнем из ППД умерить их прыть, или скорее ускользать в темноту. Но у него уже не получалось скорее, он быстро слабел от боли, едва управляясь с лыжами.

Сзади несколько раз выстрелили, часто и не очень звучно, похоже, из пистолетов, но он все же оторвался от них, теперь попасть в него было трудно. И все же одна пуля ударила куда-то под самые ноги. Он, не оглядываясь, пригнулся пониже и изо всех быст-

ро убывающих сил старался побыстрее вырваться из этого огорода. Но вот и еще одна пуля протянула свою визгливую струну над самой его головой, он вскинул автомат, чтобы дать очередь, как откуда-то спереди сильно и звучно бахнуло раз и второй. Он понял радостно, почти спасительно: это Пивоваров — выстрел своей трехлинейки он бы узнал где хочешь. Из сумерек еще и еще, почти навстречу ему один за другим сверкнули три частых удара, пули прошли совсем рядом, но он был уверен: своя пуля его не зацепит.

— Скорее, товарищ лейтенант!

Ивановский упал, немного не дойдя до изгороди, но не от боли в груди, которая быстро завладевала всей его правой половиной тела, а оттого, что не хватало дыхания. Он задохнулся. Но он знал, что Пивоваров уже где-то рядом и не оставит его.

Сплюнув снег, он тут же попытался подняться, но ноги его странно отяжелели, к тому же мешали скрестившиеся при падении лыжи. Одна из них вовсе соскочила с ноги, тогда он дернул другой и тоже высвободил ее из крепления. Сзади еще хлопнуло несколько выстрелов, но, похоже, его не преследовали, их задержал Пивоваров, который и выбежал к нему из сумерек.

— Товарищ лейтенант!..

— Тихо! Дай руку.

— Я уложил там одного! Пусть теперь сунутся...

Кажется, он не очень и удивился его ранению, быстро помог подняться, но, видно, бойца занимало другое, и он даже не пытался скрыть это. Похоже, он и не догадывался, как просто теперь их могли уложить тут обоих.

Лейтенант хотел было собрать лыжи, но опять голова у него закружилась, и он ткнулся плечом в мягкий морозный снег. Пивоваров, наверно, только

теперь поняв состояние командира и скинув со своих ног лыжи, опять бросился к нему на помощь.

— Что, вас здорово, а? Товарищ лейтенант?

— Ничего, ничего,— выдавил из себя Ивановский.— Поддержи...

Надо было как можно скорее уходить отсюда, с минуты на минуту их могли настичь немцы. Пивоваров примолк вдруг и, поддерживая отяжелевшее тело лейтенанта, повел его куда-то в темень, подальше от деревни, в поле. Ивановский послушно тащился по снегу, заплетаясь ногами, в голове его хмельно кружилось, начинало тошнить. Два раза он сплюнул на снег что-то темное, обильное, не сразу поняв, что это кровь. «Хорошо получил!.. Хорошо получил!» — думал он почти со злорадством, как о ком-то другом, не о себе.

Они не оглядывались, но и без того было слышно, что сзади не унимался переполох, раздавались крики. Правда, выстрелов не было, но все еще доносившиеся встревоженные голоса подгоняли их пуще стрельбы. Очевидно, немцы высыпали на околицу или, может, шли следом. У Ивановского уже все было мокро от пота и крови, на боку через бязь маскхалата проступило темное большое пятно, он трудно, загнанно дышал, то и дело сплевывая на снег кровавые сгустки. Несколько раз оба они падали, но Пивоваров, наскоро отдышавшись, вскакивал, хватал лейтенанта под мышки, и они снова шатко и неровно брели в серые морозные сумерки, петляя по зимнему, продутому всеми ветрами полю.

Когда уже совсем обессилели оба, лейтенант, выплюнув кровавую пену, промычал «стой» и упал боком на снег. Рядом упал Пивоваров. Уже нигде ничего не было слышно и ничего не видать, даже не понять было, в какой стороне деревня. Думалось, они ушли на край света, где нет ни своих, ни

немцев, и Пивоваров, отдышавшись, сел на снегу.

— Сейчас перевяжем,— сказал он, зашарив по карманам в поисках бинта.— Куда вас?

— В грудь. Под рукой вот ..

— Ничего, ничего! Сейчас. Перевяжу. А я тому как дал, так сразу... Другой, гляжу, драла... Целую обойму выпустил.

Ивановский откинулся на спину, расстегнул ремень, телогрейку. Пивоваров холодными руками зашарил по телу. Кровь, обильно пропитавшая одежду, начала уже остывать и жгла на морозе как лед. Впрочем, жегся, возможно, набившийся всюду снег, лейтенант то и дело содрогался в ознобе, но терпел молча. Боец туго обмотал его грудь двумя или тремя пакетами, накрепко связал их концы.

— Больно очень?

— Да уж больно,— с раздражением ответил Ивановский.— Все, застегни ремень.

Пивоваров помог командиру привести себя в порядок, застегнул на телогрейке ремень, одернул куртку маскхалата. Постепенно лейтенант начал согреваться, хотя тело его все еще бил мелкий нервный озноб, от которого спирало дыхание.

— Не надо было туда идти,— сказал боец, вытирая о шаровары испачканные кровью руки.

— Да? Что ж ты не сказал раньше?

— Так я не знал,— пожал одним плечом Пивоваров.

— А я знал? — раздраженно бросил лейтенант. Он понимал, что становится злым и несправедливым и что Пивоваров здесь ни при чем, что во всем виноват он сам. Но именно сознание этой виновности больше всего и злило Ивановского. Да, теперь он влип, похоже, погубил себя и этого бойца тоже, завалил все задание с базой, ничего не добился в деревне. Но поступить иначе — обойти стороной базу,

штаб, эту деревню и тем сохранить себя он не мог. На такой войне это было бы кощунством.

— Диски давайте сюда. И автомат тоже. Я понесу,— тихо сказал Пивоваров, и Ивановский молча согласился, теперь, конечно, много унести он не мог. Собрав в себе жалкие остатки сил, он лишь повернулся, чтобы сесть на снегу.

— Что ж, надо уходить.

— Ага. Давайте вон туда. Как и шли,— оживился Пивоваров.— Ей-богу, тут где-то деревня.

— Деревня?

— Ну. В какую-нибудь деревню надо. Без немцев чтоб.

Пожалуй, Пивоваров прав, подумал Ивановский. Теперь им остается только забиться в какую-нибудь деревню, к своим людям, больше деваться некуда. Он просто не сразу сообразил, как круто это его ранение изменило все его планы. Теперь, видно, следовало заботиться единственно о том, чтобы не попасть к немцам. Базы ему уже не видать...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Они все шли по колено в снегу, без лыж — бессильно тащились, вцепившись друг в друга, от усталости едва не падая в снег. Пивоваров выбивался из сил, но не оставлял лейтенанта, правой рукой поддерживая его, а в левой волоча за ремни автомат и винтовку да на плече свой все время сползавший вещевой мешок. Ивановскому уже совсем невтерпеж были эти муки, но, сцепив зубы, он вынуждал себя на последние усилия и шел, шел, только бы подальше уйти от той злосчастной деревни.

Тем временем в ночи повалил снег, вокруг забелело, затуманилось, мутное небо сомкнулось с мут-

ной землей, затканной мигающе-секущим потоком снежинок. Невозможно было поднять лицо. Но ветер был слабее, чем вчера, к тому же, казалось, дул в спину, и они слепо брели по полю, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Сплевывая кровь, Ивановский с тоской отмечал, как таяли его силы, и упрямо шел, надеясь на какое-то пристанище, чтобы не погибнуть здесь, в этом поле. Погибать он не хотел, пока был жив, готов был бороться хоть всю ночь, сутки, хоть вечность, лишь бы уцелеть, выжить, вернуться к своим.

Наверно, Пивоваров чувствовал то же, но ничего не говорил лейтенанту, только как мог поддерживал его, напрягая остатки своих далеко не богатырских сил. В других обстоятельствах лейтенант, наверно, удивился бы, откуда они еще брались у этого тщедушного, заморенного на вид паренька, но теперь сам он был слабее его и целиком зависел от его пусть даже небольших возможностей. И он знал, что если они упадут и не смогут подняться, то дальше будут ползти, потому что какое ни есть — спасение у них впереди; сзади же их ждала смерть.

В какой-то ложбине с довольно глубоким снегом они нерешительно остановились раз и другой. Пивоваров, придерживая лейтенанта, пытался рассмотреть что-то впереди, что лейтенант не сразу и заметил. Потом, присмотревшись сквозь загустевшую в ночи круговерть, он тоже стал различать неясное темное пятно, размеры которого, как и расстояние до него, определить было невозможно. Это мог быть и куст рядом, и какая-то постройка вдали, а возможно, и дерево — ель на опушке. Тем не менее это пятно насторожило обоих, и, подумав, Пивоваров опустил Ивановского на бок.

— Я схожу. Гляну...

Лейтенант не ответил, говорить ему было мучи-

тельно трудно, дышал он с хрипом, часто сплевывая на снег. Рукавом халата вытер мокрые губы, и на белой влажной материи осталось темное пятно крови.

— Вот, наверно, и все...

«Если уж изо рта идет кровь, то, по-видимому, недолго протянешь»,— невесело подумал он, лежа на снегу. Голова его клонилась к земле, и перед глазами плясали огненно-оранжевые сполохи. Но сознание оставалось ясным, это вынуждало бороться за себя и за этого вот бойца, нынешнего его спасителя. Спаситель сам едва стоял на ногах, но до сих пор лейтенант не мог ни в чем упрекнуть его — там, в деревне, и в поле Пивоваров вел себя самым похвальным образом. Теперь, почувствовав преимущество над командиром, он как-то оживился, стал увереннее в себе, расторопнее, и лейтенант подумал с уверенностью, что в выборе помощника он не ошибся.

Несколько минут он терпеливо ждал, тоскливо прислушиваясь к странному клокотанию в простреленной груди. Рядом лежал вещмешок Пивоварова, и лейтенант подумал, что надо, видимо, им разгрузиться, выбросить часть ноши. Теперь уж большой запас ни к чему, необходимы личное оружие, патроны, гранаты. Бутылки с КС, по-видимому, были уже без надобности. Но, обессилев, он не смог бы даже развязать вещмешок и лишь немощно клонился головой к земле. Он не сразу заметил, как из снежных сумерек бесшумно появилась белая тень Пивоварова, который обрадованно заговорил на ходу:

— Товарищ лейтенант, банька! Банька там, понимаете, и никого нет.

Банька — это хорошо, подумал Ивановский и молча, с усилием стал подниматься на ноги. Пивоваров, подобрав вещмешок, ППД, помог встать

лейтенанту, и они опять побрели к недалекому притуманенному силуэту бани.

Действительно, это была маленькая, срубленная из еловых вершков, пропахшая дымом деревенская банька. Пивоваров отбросил ногой палку-подпорку, и низкая дверь сама собой растворилась. Нагнув голову и хватаясь руками за стены, Ивановский влез в ее тесную продымленную темноту, повел по сторонам руками, нащупав гладкий шесток, шуршащие веники на стене. Пивоваров тем временем отворил еще одну дверь, и в предбаннике сильно запахло дымом, золой, березовой прелью. Боец вошел туда и, пошарив в темноте, позвал лейтенанта:

— Давайте сюда. Тут вот лавки... Сейчас составлю...

Ивановский, цепко держась за косяк, переступил порог и, нащупав скамейки, с хриплым выдохом вытянулся на них, касаясь сапогами стены.

— Прикрой дверь.

— Счас, счас. Вот тут и соломы немного. Давайте под голову...

Он молча приподнял голову, позволив подложить под себя охапку соломы, и обессиленно смежил веки. Через минуту он уже не мог разобрать, то ли засыпал, то ли терял сознание, оранжевое полыхание в глазах стало сплошным, непрекращающимся, мучительно кружилось в голове, тошнило. Он попытался повернуться на бок, но уже не осилил своего налитого тяжестью тела и забылся, кажется, действительно потеряв сознание...

Приходил он в себя долго и мучительно, его знобило, очень хотелось пить, но он долго не мог разомкнуть пересохшие губы и попросить воды. Он лишь с усилием открыл глаза, когда почувствовал какое-то движение рядом,— из предбанника появилась белая тень Пивоварова с откинутым на заты-

лок капюшоном и его автоматом в руках. В баньке было сумрачно-серо, но маленькое окошко в стене светилось уже по-дневному, ясно просвечивали все щели в предбаннике, и лейтенант понял, что наступило утро. Пивоварова, однако, что-то занимало снаружи, сгорбившись, боец припал к маленькому окошку, что-то пристально высматривая там.

Ивановский попытался повернуться на бок, в груди его захрипело, протяжно и с присвистом, и он закашлялся. Отпрянув от окошка, Пивоваров обернулся к раненому:

— Ну как вы, товарищ лейтенант?..

— Ничего, ничего...

Он ждал, что Пивоваров и еще что-то спросит, но боец не спросил ничего больше, как-то сразу притих и, пригнувшись все у того же окошка, сказал сдавленным шепотом:

— Вон немцы в деревне.

— В какой деревне?

— В этой. Вон крайняя хата за вербой. Немцы ходят.

— Далеко?

— Шагов двести, может.

Да, если в двухстах шагах немцы, которые еще не обнаружили их, то можно считать, им повезло в этой баньке.

Правда, до сих пор была ночь, но вот начинается день, и кто знает, сколько им еще удастся просидеть тут незамеченными.

— Ничего. Не высовывайся только.

— Дверь я прикрыл,— кивнул Пивоваров в сторону входа.— Лопатой подпер.

— Хорошо. Воды нет?

— Есть,— охотно отозвался Пивоваров.— Вот в дежке вода. Я уже пил. Со льдом только.

— Дай скорее.

Пивоваров неловко напоил его из какой-то жестянки, вода пахла вениками, к губам прилипала размокшая березовая листва. В общем, вода была отвратительная, словно из лужи, и так же отвратительно было внутри у лейтенанта — что-то разбухало в груди, уже с трудом можно было вдохнуть; откашляться он не мог вовсе.

После питья стало, однако, легче, сознание вроде прояснилось, Ивановский огляделся вокруг. Банька была совершенно крохотная, с низким, закопченным до черноты потолком, такими же черными от копоти стенами. В углу, возле двери, чернела груда камней на печурке, возле которой стояла кадка с водой. На низком шесте над ним висели какие-то забытые тряпки. Конечно, в любой момент и по любой надобности тут могли появиться люди, которые и обнаружат их. И как он не подумал прежде, что банька не может быть далеко от деревни и что в этой деревне тоже могут быть немцы?

— Что там видать? — глухо спросил он Пивоварова, замершего теперь в предбаннике возле дверной щели.

— Да вон со двора вышли... Двое. Закуривают... Пошли куда-то.

— Немцы?

— Ну.

— Ничего. Смотри только. Легко они нас не возьмут.

Конечно, он понимал цену своего голословного утешения, но что он мог еще? Он знал только, что, если нагрянут немцы, придется отбиваться, пока хватит патронов, а там... Но, может, еще и не нагрянут? Может, они и вовсе уйдут из деревни? Странно, но теперь в его ощущениях появились какие-то новые, почти незнакомые ему оттенки, какое-то неестественное в этой близости от немцев успокоение,

похоже, он утратил уже свою спешку, свое нетерпение, не оставлявшее его все последние дни. Теперь все это разом куда-то исчезло, пропало, наверное, вместе с его силами, лишившись которых он лишился также и своего душевного напора, энтузиазма. Теперь он старался поточнее все взвесить, выверить, чтобы поступить наверняка, потому что любая ошибка могла оказаться последней. И первой его ясно понятой неизбежностью была готовность ждать. Днем в снежном поле, на краю деревни, ничего нельзя было, кроме как запастись до ночи терпением, чтобы с наступлением темноты что-то предпринять для своего спасения.

Но чтобы ждать, тоже нужны были силы, надо было как-то удержать в себе зыбкое свое сознание, усилием воли сохранить выдержку. Это тоже было нелегко, даже здоровому, каким был Пивоваров. В этой западне на виду у немцев не просто было совладать с нервами, думал лейтенант, наблюдая, как кидался по баньке боец — то к окошку в стене, то в предбанник с множеством щелей. Выглядел он испуганным, и каждый раз, глядя на бойца, Ивановский думал — идут! Но, наверно, чтобы успокоить командира да и себя тоже, Пивоваров время от времени приговаривал вслух:

— Кто-то на тропку вышел... К колодцу вроде. Ну да. Какая-то тетка с ведром...

И минуту спустя:

— О, о! Выходят. Нет, стали. Стоят... Пошли куда-то.

— Куда пошли?

— А черт их знает! Спрятались за сараем.

— Ничего, не волнуйся. Сюда не придут.

Он не стал забирать у бойца свой автомат, подумав, что при случае тот справится с ним ловчее, у него же оставалась граната. Теперь без гранаты ему

нельзя. Он отвязал ее от пояса и положил возле лавки. У изголовья стояла прислоненная к стене винтовка — все было на месте, оставалось терпеливо ждать, полагаясь на удачу.

— Сунутся, тут и останутся,— сказал Пивоваров, подходя к окошку.— Правда, и мы...

Ивановский понял, что не досказал Пивоваров, и спросил неожиданно:

— Жить хочешь?

— Жить? — почти удивился боец и вздохнул.— Не худо бы. Но...

Вот именно — но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него никуда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой — преждевременная, страшная в своей обыденности смерть. С этого все началось, и, что бы ни случалось потом, в последующих передрягах, неизменно все натыкалось на это роковое НО. Чтобы как-то обойти его, обхитрить, пересилить на своем пути и продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки... Разумеется, чтобы выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив,— в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага — другого выхода на войне, видимо, не было.

А что вот, если, как теперь, ему невозможно и убить? Он мог лишь убить себя, а боец он уже был плохой. Как бы ни утешал он себя и Пивоварова, как бы ни вынуждал на усилия, он не мог не сознавать, что с простреленной грудью он не вояка.

Тогда что же — тихо умереть в этой баньке?

Нет, только не это! Это было бы едва не подлостью по отношению к себе, к этому бойцу, которого он тоже обрекал на гибель, по отношению ко всем своим. Пока жив, этого он себе не позволит.

Он даже испугался этой своей мысли и очнулся от короткого забытья. Надо было предпринять что-то, предпринять немедленно, не теряя ни одной минуты жизни, потому что потом может быть поздно.

Мечась в горячечных мыслях, он долго мучительно перебирал все возможные пути к спасению и не находил ничего. Тогда опять наступила апатия, расслабляющая ум отрешенность, готовность покорно ждать ночи.

«Проклятая деревня!» — в который раз твердил он себе, она его погубила. И надо же было так нелепо наткнуться на этого фрица, поднявшего крик, вступить в перестрелку, получить пулю в грудь... Но все-таки что-то там есть. Эта тишина, скрытность, несомненно, были искусственными, поддержанными твердой дисциплиной, невозможной без власти большого начальства. Опять же антенны... По всей видимости, там расположился какой-то большой, может, даже армейский штаб, в глубоком тылу маленького штаба не будет. Как было бы кстати нанести по нему удар!.. Но как нанесешь? Самолеты теперь не летают, а установится погода — тогда ищи его, как эту вот распроклятую базу боеприпасов.

Что же, ему не повезло в самом начале, а в конце тем более. Если бы не это ранение, по существу, погубившее его, уж что-нибудь он бы, наверно, придумал. Можно было бы устроить засаду, взять «языка». Но теперь как возьмешь? Теперь его самого можно взять вместо «языка», разве что толку от него будет немного. Впрочем, пока он живой и у него есть граната, которой вполне хватит для обоих и для

этой вот баньки, его им не взять. Видно, на гранату теперь вся надежда.

Но шло время, а никто их не тревожил в этом тесном и темном, провонявшем дымом убежище на краю села. Пивоваров теперь больше простаивал за простенком, изредка комментируя то, что удавалось увидеть сквозь щель. Но вот он умолк, видно, ничего особенного там не было, и лейтенант вдруг тихо спросил:

— У тебя мать есть?

Наверное, это был странный в их положении вопрос, и Пивоваров не понял:

— А? Что вы сказали?

— Мать есть?

— Есть, конечно.

— И отец?

— Нет, отца нет.

— Что, помер?

— Да так,— неопределенно замялся Пивоваров.— Я с матерью жил. Вот если бы она знала, как нам тут! Было бы страху!

— Хорошая мамаша?

— Ну,— односложно подтвердил боец.— Я же у нее один. Бывало, все для меня.

— Откуда родом?

— Я? Из-под Пскова. Городок такой есть — Порхов, может, слыхали? Вот там жили. Мама в школе работала, учительницей.

— Говоришь, обожала?

— Ну. Еще как! Прямо смешно было. С ребятами когда нашалишь — трагедия. Завтрак не доешь — трагедия. А уж если заболею — ого! Всех врачей на ноги поднимет, неделю лекарствами кормить будет. Смешно было... А теперь не смешно.

— Теперь не смешно,— вздохнул лейтенант.

— Мама — золото. Я у нее один, но и она у меня

ведь тоже одна. У нас там и родни никакой. Мама из Ленинграда сама. До революции в Питере жила. Сколько мне про Питер нарассказывала!.. А я так ни разу и не съездил. Все собирался, да не собрался. Теперь после войны разве.

— После войны, конечно.

— Я, знаете, ничего. Я не очень: убьют, ну что же! Вот только мать жалко.

Матери жаль, разумеется, молча согласился Ивановский, впрочем, жаль и отца тоже. Даже и такого, каким был его отец, ветеринар Ивановский. Не очень добрый и не очень чтоб умный, любитель посудачить с мужиками и в меру выпить по праздникам, он иногда казался глубоко несчастным, потрепанным жизнью неудачником. В самом деле, у всех были жены, заботящиеся о питании, быте, семейных удобствах, в разной степени, но неизменно обожающие своих мужей-командиров, а они с отцом, сколько помнил Игорь, всегда жили в каких-то каморках, углах, на частных квартирах, обходясь на обед куском сала, миской капусты, вчерашними консервами и одной на двоих алюминиевой ложкой. Мать свою Игорь едва помнил и почти никогда не спрашивал о ней у отца, знал: стоит завести о ней разговор, как отец не может удержаться от слез. С образом матери была связана какая-то семейная драма Ивановских, и сын даже не знал, была ли она жива или давно умерла. Впрочем, как выяснилось потом, отец тоже знал об этом едва ли больше его.

Об отце Ивановского знакомые говорили разное, по-разному относился к нему его сын, но все равно это был отец, по-своему любивший единственного своего сына, желавший ему только хорошего, радовавшийся его военному будущему. И вот дорадовался. Последнее письмо от него Ивановский получил в училище перед выпуском, в начале июня; отец был

под Белостоком, все в том же пограничном отряде, а Игорь получил назначение в Гродно, в распоряжение армейского отдела кадров, и думал, что они скоро свидятся. Он даже не ответил отцу на его письмо, а потом уж и отвечать стало некуда. Где он, жив или нет? Никто ему толком ответить не мог, да и спрашивать было не у кого. Видно, с отцом у Ивановского все навсегда было кончено, надежд на встречу никаких не осталось...

Так же, как и с его Янинкой. Странно, но ту страшную разлуку с девушкой он переживал куда дольше и труднее, чем вечную, по всей вероятности, разлуку с отцом. Правда, потом в боях, в кровавой сумятице фронтовых будней часто забывал о ней, чтобы совершенно неожиданно где-нибудь на ночлеге, в тихую минуту перед щемящей неизвестностью предстоящего боя вдруг вспомнить до пронзительной боли в сердце. Он никому не рассказывал об этой своей первой и, наверно, последней, такой скоротечной любви, знал, чувствовал: у других было не легче. Кто в войну не переживал, не сох, не страдал от разлуки с любимой, матерью, женой или детьми... Разлуки томили, жгли, болью точили сердца, и никто ничего не мог сделать, чтобы облегчить эту боль.

...Кажется, он снова забылся — уснул или просто затих на мучительном рубеже между жизнью и смертью, и когда очнулся, банька почти погрузилась в сумерки. Он уже не глядел на свои часы, время теперь для него потеряло свой изначальный смысл, состояние его вроде и еще ухудшилось. Он часто, мелко дышал, утренний озноб сменился теперь потливым жаром. Очнувшись, он пошарил по баньке взглядом и увидел Пивоварова, который сидел на опрокинутом деревянном ведерке у окна и грыз сухарь. Окно потело от его дыхания, и боец рукавицей то и дело протирал стекла.

— Что там? — открыв и снова закрывая глаза, спросил лейтенант.

— Все то же. Не уходят, сволочи.

Не уходят — значит, в деревню не сунуться. Но куда же, кроме деревни, им теперь можно сунуться? В поле будет похуже, чем в этой баньке, в поле доконает мороз. Но и здесь вряд ли они дождутся хорошего.

Черт, нужны были лыжи, они зря бросили их в той деревне. Хотя там, под огнем, было не до лыж — важно было унести ноги. Но теперь вот без лыж они просто не могли никуда уйти из этой бани.

Конечно, ему все равно, лично ему лыжи уже без надобности. Но Пивоварову они просто необходимы. Без лыж парню никак не добраться до линии фронта — на первом же километре дороги его схватят немцы.

— Пивоварчик, как думаешь, до той деревни далеко?

— Какой деревни?

— Ну той... вчерашней.

— Может, километра два.

Оказывается, так близко, а ему ночью казалось, что они ушли от нее километров на пять, не меньше. Впрочем, меры расстояний и времени, очевидно, потеряли для него истинное свое значение, каждый метр пути и каждая минута жизни невероятно растягивались его муками, искажая нормальное, человеческое восприятие их. Наверно, теперь ему следовало больше полагаться на Пивоварова.

— А что надо, товарищ лейтенант? — спросил боец.

— Сходить за лыжами. Ночью. Может, не подобрали немцы.

Пивоваров помолчал минуту, что-то прикидывая про себя, потом со вздохом ответил:

— Что ж, я схожу. Пусть потемнеет только.

— Да. Надо, знаешь...

— Ну. Только вы... Как вы тут?..

— Как-нибудь. Я подожду.

Еще не совсем стемнело, но Пивоваров поднялся и, не мешкая, стал собираться в дорогу. Первым делом он стащил с ноги кирзовый сапог и перемотал портянку. Потом вынул из вещмешка два сухаря, сунул в карман; вещмешок переставил ближе к Ивановскому.

— И это... Автомат возьму — ладно?

— Возьми.

— С автоматом, знаете... Увереннее.

Лейтенант видел, Пивоваров не мог сдержать радости, получив такое оружие, о котором мечтал каждый боец на фронте. Автоматы были еще в новинку, пехоту почти сплошь вооружали винтовками. Ивановский сам получил его накануне выхода: генерал, раздобрившись, приказал своему коноводу передать автомат лейтенанту. Конечно, теперь в их положении оружие решало если не все, то многое, на извечной силе оружия держались мизерные их возможности.

— А винтовка пусть здесь побудет. В случае чего вам сгодится.

Лейтенант не возражал, и Пивоваров снял с ремня оба брезентовых подсумка, звякнув обоймами, положил их на пол возле скамейки.

— Винтовка хорошая: бой в самую точку. Старшина пристреливал.

Ивановский, рассеянно слушая бойца, думал, что винтовка, несколько обойм патронов, противотанковая граната и две бутылки с КС — наверно, этого будет достаточно. Повезет — он дождется Пивоварова с лыжами, и, может, они еще что предпримут. А нет — придется стоять за себя до конца.

Пивоваров перемотал и другую портянку, подтянул ремень и с видимым удовольствием закинул за плечо автомат. Похоже, он уже был готов отправиться в недалекий, но, кто знает, вряд ли безопасный путь.

— Сколько на ваших там? Пять уже? Ну, я за часок обернусь, тут недалеко...

За часок он обернется, и опять они будут вместе. В минуту новой разлуки Ивановский почувствовал, как, в общем, неплохо ему было с этим тихим безотказным парнишкой и как, наверно, нелегко будет теперь в одиночестве пережить этот час. Разобщенность значительно ослабляла их силы. В действие вступала странная, попирающая математику логика, когда два, разделенное на два, составляло менее чем единицу, так же как в других случаях две вместе сложенные единицы заключали в себе больше двух. Наверно, такое с трудом согласовывалось с нормальной логикой и было возможно лишь на войне. Но что это именно так, лейтенант слишком хорошо знал по собственному опыту.

Боец готов был идти, но почему-то медлил, наверно, недоставало еще какой-нибудь самой последней малости в их прощании. Ивановский знал, в чем была эта малость, и он колебался. Появилась последняя возможность заглянуть в ту злосчастную деревню и еще раз попытаться узнать что-либо о штабе. Хотя бы в общих чертах, чтобы не с пустыми руками предстать перед пославшим их генералом и хоть в какой-то степени искупить их досадную неудачу с базой. Но он не мог не знать также, что малейшая неосторожность Пивоварова может обернуться сразу тройной бедой, навсегда покончив с их и без того ничтожной возможностью исполнить свой долг и вернуться к своим.

— Так я пойду, товарищ лейтенант,— решился

Пивоваров, поворачиваясь к порогу, и лейтенант сказал:

— Погоди. Знаешь... Я не настаиваю, смотри сам. Но... Может, ты как сумеешь... Что там, в деревне? Похоже ведь — штаб...

Он замолчал. Пивоваров настороженно ждал, но, не дождавшись ничего более, сказал просто:

— Хорошо. Я попробую.

Что-то в Ивановском протестующе вскричало, в простреленной его груди. Что значит — попробую, от пробы немного проку, тут нужна змеиная хитрость, упорство, выдержка, и то сверх всего остается риск головой. Но он не мог этого объяснить бойцу, что-то мешало ему говорить о страшных, хотя и слишком обычных на войне вещах, к тому же он едва осиливал в себе боль и слабость. И он лишь выдохнул:

— Только осторожно!..

— Да ладно. Вы не беспокойтесь. Я тихонько...

— Да. И недолго...

— Ладно. Вот тут водички вам,— зачерпнув в кадке, боец поставил у изголовья жестянку с водой.— Если пить захотите...

Утомленный трудным разговором, Ивановский прикрыл глаза, слушая, как Пивоваров вышел в предбанник, не сразу, осторожно, отворил там дверь и плотно прихлопнул ее снаружи. Минуту еще Ивановскому слышны были его удаляющиеся за банькой шаги, они быстро глохли, и с ними, казалось, уходила какая-то надежда; что-то для них безвозвратно заканчивалось, не начав нового. Он стал ждать, тягостно, упорно, вслушиваясь в каждый шорох ветра на крыше, каждый отдаленный в деревне звук; он жил в тревожном скупом мире звуков, иногда заглушаемых собственным кашлем и глухим хрипом в груди.

Постепенно, однако, слух его стал притупляться от усталости, вокруг все было тихо, и сознанием завладевали мысли, которые причудливо ветвились во времени и пространстве. Похоже, он начинал дремать, и тогда среди полубредовых видений выплывало что-то похожее на быль или его прошлое, тревожившее и сладостно томившее его одновременно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

До отхода поезда оставалось несколько последних минут, а она стояла на платформе и плакала. Никто, видно, не провожал ее здесь, и никто не встречал, вообще народу в этот утренний час на перроне было немного, и Ивановский, опустившись на ступеньку ниже, шутливо окликнул девушку:

— Эй, красавица, зачем плакать? Другого найдем.

Сказано это было из молодого озорства, дорожной, ни к чему не обязывающей легкости в отношениях между незнакомыми людьми, которые случайно столкнулись и тут же расстаются, чтобы никогда больше не встретиться. Но девушка уголком цветастой, повязанной на шею косынки смахнула слезу и бегло скользнула по нему испытующим взглядом. Сзади за ним, держась за поручень, нависал Коля Гомолко, оба они были в хорошем, приподнятом настроении и, казалось, любое на свете горе могли обратить в шутку.

— А то давай к нам! До Белостока!

Девушка машинально поправила на тонкой шее косынку, снова скользнула взглядом по лицам двух одетых во все новое военных парней, и на ее губах уже встрепенулась легонькая улыбка.

— А мне в Гродно.

— Какое совпадение! — шутливо удивился Ивановский.— Нам тоже в Гродно. Поехали вместе.

Не заставив себя уговаривать, она подобрала стоявший у ног чемоданчик и ловко ухватилась за поручень уже отходившего поезда. Ивановский поддержал ее, и, несколько смущенная и обрадованная таким оборотом дела, новая пассажирка поднялась на площадку.

— Билет, билет, гражданочка! — тут же потребовал от нее суетливый дядька-проводник, который с флажками в руках спешил к выходу.

— Есть билет! Все в порядке! — тоном, не оставляющим тени сомнения, сказал Ивановский, протискиваясь в вагон.

Он повел девушку в третье или четвертое купе, где они размещались с Гомолко, неся в руках ее чемоданчик, показавшийся ему до странности легким, скорее всего пустым.

— Вот, пожалуйста. Можете занимать мою. Я заберусь наверх,— с радушной легкостью предложил Ивановский нижнюю полку и поставил на нее чемоданчик. Она послушно присела у окошка и не сразу, преодолевая видимое смущение, тихо сказала:

— У меня нет билета.

— Что, не хватило?

— Меня обокрали.

— Как?

— Ночью. В поезде из Минска.

Это было похуже. Кажется, они взяли на себя ответственность не по плечу, тем самым нарушая строгий порядок железных дорог. Но и отступать теперь не годилось. Игорь, взглянув на Николая, прочитал на его грубоватом, всегда нахмуренном лице решимость стоять на своем, и сам тоже решился.

— Ничего! С проводником договоримся...

Но договариваться пришлось не только с проводником, но также и с ревизором, и с бригадиром поезда, и переговоры эти закончились тем, что на следующей крупной станции, куда прибыл поезд, Ивановский сбегал в вокзальную кассу и едва успел захватить последний билет на уже занятое ею место. Билет был до Гродно, и девушка скоро пришла в себя, даже заулыбалась, окончательно пережив свои злоключения. Оправившись от волнений, она оказалась общительной и, в общем, приятной девчушкой, вскоре не без юмора поведавшей им о своем дорожном происшествии. Оказалось, что она живет в Гродно и в Минск ездила к родственникам, которых никогда не видела, и тут такое несчастье в вагоне. У нее все забрали из чемоданчика, унесли плащик, жакет и, разумеется, деньги. Но вот она спасена и очень обязана обоим за их великодушное участие и помощь.

— Да ну, о чем разговор! — отмахнулся Ивановский и перевел разговор на другое: — А вы давно в Гродно?

— Там и родилась.

— Ого, значит, местная?

— Разумеется.

— И так хорошо говорите по-русски?

— А у нас всегда дома говорили по-русски. У нас отец русский и тетя, его сестра, тоже русская. Только мама полька.

— А где вы учились?

— В польской гимназии. Русских же не было.

— А как вас зовут? — все больше любопытствовал Игорь.

— Янинка. А вас, если не военная тайна? — сверкнула она в его сторону лукавой усмешкой.

— Меня Игорь. А его — Николай.

— У меня дядя, что в Минске, тоже Игорь. Игорь Петрович. А вы к нам служить едете?

Тут уже они переглянулись, это действительно в какой-то мере относилось к области военной тайны, с легкостью, однако, разгаданной их попутчицей. Но что было скрытничать! Действительно, неделю назад после окончания училища они получили назначение в армию, штаб которой размещался в этом ее Гродно.

— Похоже, что так,— неопределенно ответил Ивановский.— А что это Гродно — ничего городок?

— Очень хороший город. Не пожалеете.

— Думаешь, нас в Гродно оставят? — со свойственным ему скептицизмом сказал во всем сомневающийся Гомолко.— Запрут куда-нибудь в лесной гарнизон.

— О, в лесу хорошо! У нас такие леса!..

Ивановский промолчал. Его отношение к лесу, даже самому замечательному, мало походило на восторги этой девчушки. Еще в училище, в многомесячных летних лагерях, леса, поля, вся эта удаленность от постоянных очагов обитания с их не бог весть каким, но все же устроенным бытом успевали так надоесть к осени, что самая роскошная природа становилась несносной — хотелось в город. Правильно кем-то сказано, что военные не замечают природы, для них важнее погода.

Тем не менее в наивной восторженности Янинки сквозила такая искренность, что Ивановский заулыбался, готовый уже согласиться на любой гродненский лес. И вообще что-то ему все больше в ней нравилось, в этой миловидной, с кокетливо рассыпанными по лбу светлыми кудряшками девушке в цветастом ситцевом платье. Ему уже было неловко за ту фривольную шутку на вокзале в Барановичах, за их навязчивость, которую извиняло разве что их последующее участие.

Поезд с короткими остановками на маленьких станциях шел все дальше на запад. За окном проно-

сились зеленые июньские поля, перелески, величественные сосновые боры, деревни и хутора, хутора повсюду. Ивановский никогда не был в этой стороне Белоруссии, и теперь в нем вспыхнул неподдельный интерес ко всему, что относилось к этой жизни, неведомой для него.

На какой-то небольшой станции их вагон остановился как раз напротив крохотного привокзального базарчика, и Ивановский, выскочив на платформу, торопливо накупил в газетку немудрящей крестьянской снеди — огурцов, редиски, крестьянской колбасы и даже миску горячей, рассыпчатой, вкусно пахнущей молодой картошки. Потом они ели все вместе, парни заботливо угощали девушку, которая совсем уже освоилась в их компании, охотно смеялась, шутила, за обе щеки уплетая огурец с картошкой. После обеда, наверно, что-то уловив в поведении Игоря, Николай благоразумно устранился, забравшись на верхнюю полку, чтобы поспать.

Они же остались друг против друга, разделенные лишь маленьким вагонным столиком.

Ему было хорошо с ней, хотя он все еще не мог до конца побороть в себе какое-то запоздало появившееся чувство вины, словно какую-то неловкость за свои намерения, хотя намерений у него с самого начала никаких не было. Янинка же, судя по всему, чувствовала себя вполне свободно и естественно. Почти не смущаясь, она сняла маленькие, белые, на пробковой подошве босоножки и, обтянув на коленках короткое платьице, удобнее устроилась на твердом сиденье, все время с какой-то милой хитринкой заглядывая ему в глаза.

— А у нас, знаете, Нёман,— сказала она, именно так, на белорусский манер произнеся это слово, и Ивановский внутренне улыбнулся, вспомнив свое недалекое детство, школу, известную поэму Якуба

Коласа и это белорусское название никогда им не виданной реки.— Сразу под окнами крутой спуск, две вербы и плоты у берега. Я там купаюсь с плотов. Утром выбегу раненько, на реке еще легкий туман стелется, вода теплая, как парное молоко, нигде никого. Накупаюсь так, что весь день радостно.

— А мне больше озера нравятся. Особенно лесные. В тихую погоду — замечательно,— сказал Ивановский.

— Реки лучше, что вы! В озерах вода болотом пахнет, а в речке всегда проточная, как слеза. Летом на реке прелесть. Да что там! Вот приедем — покажу. Уверяю, понравится.

Конечно, должно понравиться. Он уже был уверен, что это необыкновенное что-то: домик, две вербы на обрыве и плоты у берега, с которых можно нырять в глубокий быстроводный Неман. И он рисовал это в своем воображении, хотя по опыту знал, что самое богатое представление никогда не отвечает действительности. В действительности все иначе — хуже или лучше, но именно иначе.

Янинка держала себя с ним легко и свободно, так, словно они давным-давно были знакомы, а он все продолжал чувствовать какую-то необъяснимую скованность, которая не только не проходила, но как будто все больше овладевала им. Игоря тревожило, что, бесцеремонно окликнув ее в Барановичах, он выказал себя человеком легкомысленным, склонным к мелким дорожным авантюрам и что она не могла не понимать этого. Хотя никакого легкомыслия в том не было, была простая ребяческая игривость, может, и не совсем приличествующая двадцатидвухлетнему выпускнику военного училища, только что аттестованному на должность командира взвода. Тогда, на перроне, он толком и не рассмотрел ее, только увидел — рассматривал он ее теперь

широко раскрытыми, почти изумленными глазами, которые, как ни старался, не мог оторвать от ее живого, светящегося радостью лица.

К концу дня, подъезжая к Гродно, он уже знал, что не расстанется с нею,— она все больше очаровывала его своим юным изяществом и влекла чем-то загадочным и таинственным, чему он просто не находил названия, но что чувствовал ежеминутно. О ее дорожных злоключениях они не говорили, похоже, она забыла о них и только однажды озабоченно двинула бровями, когда переставляла на полке легонький свой чемоданчик.

— И даже белила забрали. Папе везла. У нас теперь белил не достать.

— А он что, маляр? — не понял Игорь.

— Художник,— просто сказала Янинка.— А с красками теперь плохо. Раньше мы краски из Варшавы выписывали...

Вечером поезд прибыл на станцию Гродно, и они, слегка волнуясь, сошли на перрон. Янинка, размахивая своим пустым чемоданчиком, довела их до штаба армии, благо тот был ей по пути, но в штабе, кроме дежурного, никого не оказалось, надо было дожидаться утра. Переночевать можно было тут же или в гарнизонной гостинице. Лейтенанты, однако, не стали искать гостиницу и внесли свои чемоданы в какую-то маленькую, похожую на каптерку комнатку с тремя солдатскими койками у стен. Гомолко сразу же начал устраиваться на одной из них, что стояла под нишей, а Игорь, едва смахнув с сапог пыль, поспешил на улицу, где на ближайшем углу под каштаном его уже дожидалась Янинка. Она обрадовалась его появлению, а еще больше тому, что он был свободен до завтра, и они пошли по вечерней улице города.

За те два часа, что он провел в штабе, Янинка

успела переодеться, и теперь на ней была темная юбка и светлая шелковая кофточка с крохотным кружевным воротничком; твердо постукивали по тротуару высокие каблучки модных туфель. Принаряженная, она казалась взрослей своих юных лет и выше ростом — почти вровень с его плечом. Они шли вечернею улицей, и ему было приятно, что ее тут многие знали и здоровались, мужчины — со сдержанным достоинством прикладывая руку к краям фасонистых шляп, а женщины — вежливым кивком головы с доброжелательными улыбками на приветливых лицах. Она отвечала с подчеркнутой вежливостью, но и с каким-то неуловимым достоинством и сдержанно вполголоса рассказывала о попадавшихся на глаза достопримечательностях этой нарядной, утонувшей в зелени улицы.

— Вот наша Роскошь, так она называлась при Польше. Ничего особенного, но вот церковь, построенная в память павших на русско-японской войне девятьсот пятого года. Низенькая, правда, но очень аккуратная внутри церковка. Я там крестилась. А дальше, смотрите, видите такие забавные домики, вон целый ряд, с фронтончиками вроде гребешков. Это дома текстильщиков из Лиона. Еще в семнадцатом веке богач Тизенгауз выписал из Лиона ткачей и построил для них точно такие дома, как во Франции. А это вот домик польской писательницы Элизы Ожешковой, она здесь жила и умерла. Знаете, писала интересные книжки.

Городок ему действительно нравился скромным, но обжитым уютом своих вымощенных брусчаткой улочек с узенькими, выложенными плиткой тротуарчиками, отделанными каменными скосами и бордюрами. На стенах многих домов густо зеленел виноград, некоторые из них до третьих этажей были увиты его цепкими лозами. Но больше всего он ждал

встречи с расхваленным Янинкой Неманом, который, как она сказала, протекал тут же, разделяя город на две неравные части.

Возле готической громады костела улица сворачивала в сторону, они миновали торговые ряды, городскую ратушу и вышли на угол, где под каштанами устроилась мороженщица со своей коляской. Янинка, которая все время шла рядом, легонько тронула его за локоть.

— Игорь, можно мне попросить вас?

— Да, пожалуйста,— с полной готовностью исполнить самую невероятную ее просьбу произнес он.

— Знаете, я давно мечтала... Ну, в общем, мечтала, как... Когда меня парень угостит мороженым.

— Ах, мороженым...

Игорь почти ужаснулся, подумав, какой же он, в сущности, вахлак, как не догадался сам! Ему просто невдомек было, чего могла пожелать здесь его богиня.

— Проше, паненко! Дзенькуе гжечнэго пана,— поблагодарила мороженщица, когда он отказался от нескольких копеек сдачи.

— Дзенькуе, пани Ванда,— в свою очередь церемонно поблагодарила Янинка, принимая из рук пожилой женщины вафельный стаканчик.

В конце коротенькой улицы над липами засиял такой широкий простор, какой может открыться только с очень высокого холма, и они увидели каменный мост через ров. Это был въезд в древний, с полуразрушенными стенами замок, по другую сторону от которого в глубине старинного парка высился роскошный дворец за фигурной оградой.

— Замок короля Польши Батория,— торжественно объявила Янинка.— А это Новый Замок. А теперь глянь туда. Видишь?

Он глянул через каменный, почти в человеческий

рост парапет и внутренне ахнул от головокружительной высоты, на которой они оказались,— далеко внизу по каменным ступеням лестницы двигались фигурки людей, расходящиеся в обе стороны набережной, плавно огибавшей этот берег Немана и где-то терявшейся под густой крышей огромных деревьев.

— Ну, видишь? Как это нравится? — прижавшись к его локтю, добивалась Янинка.

Древние, дышащие таинственной стариной стены замков, этот прочный, перекинутый над каменной лестницей мост, огромные массивы зелени на холмах и склонах, высоченный, господствующий над всем каменный столб городской каланчи, конечно, не могли ему не понравиться, и он готов был смотреть на это до вечера. Но вот Неман с такой высоты никак не поразил его воображение — это была обычная, средней величины, затиснутая высокими берегами река. Зато Янинка была в восторге именно от Немана и без умолку щебетала рядом:

— Посмотри, посмотри, какое течение! Видишь, быстрина. Вон там, под вербами, такие виры! Ого! Только сунься — закрутит, понесет — не выберешься.

Они прошли несколько назад и по той самой лестнице спустились на набережную. Нет, все-таки река была прекрасной, очевидно, с высоты он просто не оценил ее должным образом. По ее правому берегу шла вполне благоустроенная, обсаженная деревьями набережная, справа высились огромные, изрезанные тропинками откосы с остатками крепостных стен наверху. Река плавным изгибом скрывалась за недалеким поворотом, сплошь занятым огромными шапками верб, там где-то оканчивался город и синел хвойный лес, в который садилось красное солнце. Они медленно шли вдоль Немана, и Янинка без

умолку говорила и говорила что-то, не очень обязательное в минуту вечерней благости, а он думал, как все странно устроено в жизни. Ведь до сегодняшнего утра он и не подозревал о ее существовании на этой земле. А теперь вот, проведя с ней день, он уже не знал, как быть дальше,— дальнейшая жизнь без нее просто лишалась для него всякой радости.

Они шли долго вдоль Немана и, когда солнце совершенно скрылось за зубчатою стеной леса, повернули обратно к городу. Слушая частый перестук ее каблучков рядом, он смутно ощущал, как что-то в его жизни странным образом переиначивается, обретая еще неведомый, но очень значительный смысл. И он был рад тому, почти счастлив. Рядом едва заметно струилась блестящая гладь Немана, людные днем берега к ночи заметно опустели, уставшие за день удильщики один за другим сматывали свои удочки и уходили в город. Меж темных прибрежных камней тихо плескались волны и шатко покачивались черные, пахнущие смолой рыбачьи лодки. Огромные ветлы, нависнув над набережной, погружали ее в непроницаемый ночной мрак, в котором совершенно исчезали прохожие. Откуда-то со дворов несло сладковатым запахом дыма, слышалось мерное дыхание готовящегося к ночи города, щедрая природа которого дышала благостным покоем извечных своих установлений, казалось, не подвластных никому на свете.

Янинка заметно приблизилась к нему, наверно, окончательно преодолев что-то разделяющее их днем, и теперь шла совсем рядом, легонько касаясь пальцами его локтя. Как-то незаметно для него она перешла на «ты», и он тоже несколько раз сказал ей «ты», отчего обоим стало удивительно просто; окончательно исчезла дневная неловкость и непонятная, долго донимавшая его натянутость.

Как только они ступили в сгустившийся под ветлами сыроватый мрак ночи, Янинка вдруг отпрянула в сторону и с непонятной для него прытью бросилась по травянистому склону вверх. Он остановился в нерешительности, подумав о своих хромовых выходных сапогах, но она из темноты подбодрила его — давай, давай! И сама быстро полезла куда-то меж колючих кустов, все выше на кручу. Он не видел, что было наверху, полнеба там закрывало что-то похожее на раскидистую крону дерева, но он почувствовал в ее голосе азарт тайны и тоже полез в кустарник. Скинув с ног туфли, Янинка взбиралась все выше, из темноты приговаривая ему вполголоса:

— Сейчас ты что-то увидишь... Сейчас, сейчас...

Минуту спустя, одолев самое крутое место и исцарапав до крови руки, он оказался на краю неширокой, обнесенной решеткой террасы, тесаные камни которой еще источали густое, накопленное за день тепло. Рядом, закрыв половину неба, высилось могучее старое дерево и поднималась отвесная стена какого-то здания. Вокруг было тихо и темно, снизу из-под верб едва доносился тихий плеск Немана, пахло известкой от стен и укропом с недалеких, видать, огородов.

— Ну, ты понял? Ты понял, что это такое?..

— Ничего не понял...

— Наша церковь — Коложа... Двенадцатый век, ты понял?

— Понятно. Посмотреть бы...

— Посмотришь,— просто заверила Янинка.— Успеешь. А теперь... А ну иди сюда...

Она снова метнулась в темень, легко пролезла сквозь нечастую решетку ограды, перебралась через какую-то стену, и ее светлая кофточка совершенно исчезла из поля его зрения. Не желая отставать от нее, он лез в темноте следом, пока не очутился на

небольшом травянистом дворике. Небо тут сплошь закрывали деревья, было темно, и в этой темноте едва брезжила серая стена рядом. Чутко прислушиваясь к тишине,Янинка пробралась босиком к низенькой двери в нише, бросив туфли, потянула на себя створку двери, заговорщически шепнув ему: «Лезь!» Он с трудом протиснулся в узкую щель, изнутри придержал створки, между которых проскользнула она. Когда створки сомкнулись, их объял такой глухой мрак, что он совершенно перестал видеть ее и, чтобы не потерять, легонько придерживал за плечи. В осторожной тишине что-то глухо застучало-захлопало вверху. Янинка вздрогнула, тут же поспешив успокоить его:

— Не бойся: это голуби.

— Я не боюсь,— шепотом ответил Игорь, хотя ему было интересно и жутковато одновременно.

— Это иконостас, это аналой, а здесь вот...

Неслышно ступая в темноте по гулкому каменному полу, она подвела его к какой-то стене, жестом заставила присесть, затаиться и негромко вскрикнула:

— О-о!

— О-о! О-о! О-о! — отозвалось в разных местах множеством негромких голосов, от которых ему совсем уже стало не по себе.

— О-о-о! — повторила она погромче.

— О-о-о-о! О-о-о-о!..— покатилось куда-то вдаль, под невидимые во мраке своды притворов и ушло вверх, заглохнув, наверно, в звоннице.

— Голосники. Понял?

— Какие голосники?

— Не знаешь? Эх ты!.. Иди сюда... Вот сюда...

Она снова повела его за руку в темноту, как зрячий водит слепого, где-то остановилась, слегка подтолкнув его в бок.

— Вот, щупай. Ты же большой, наверно, достанешь.

Он начал ощупывать шершавую стену и скоро наткнулся на какие-то гладкие, отполированные впадины в ней, но понять ничего не мог, хотя ни о чем не спросил и не удивился. Он уже привык за сегодня к такому обилию загадок и впечатлений, что разобраться в них, наверно, нужно было время.

А времени как раз было в обрез, самая короткая ночь в году быстро бежала навстречу утру, и когда они выбрались из церкви, над городом уже меркли звезды и далекий солнечный отсвет брезжил на восточном закрайке неба. Янинка, торопясь и не давая Игорю опомниться, все говорила и говорила, преисполненная душевной щедрости, тем значительным и интересным, что видела, знала, что непременно хотела разделить с ним. Подхватив туфли, она уже лезла куда-то через колючие заросли шиповника на обрыве, и он едва успевал за нею, уже не заботясь о своих выходных сапогах, которым, наверно, досталось.

— Иди, иди сюда! Ну что ты такой неловкий? Не бойся, не свалишься. Я поддержу...

Перейдя какой-то овраг, они снова выбрались на набережную совсем уже сонной, слегка парившей реки, и Янинка сбежала еще ниже — по голым камням к воде.

— Иди сюда. Пока отец спит, я тебе покажу мой цветник. Уже зацвели матейки. Знаешь матейки? Пахнут на рассвете — страх!

Скользя на кожаных подошвах, он спустился по каменному откосу вниз, к лодке, где она уже орудовала веслом, подталкивая ее ближе к берегу. Он вскочил в лодку и едва успел ухватиться за борт, как Янинка развернула ее по течению.

— Так будет ближе. А то по мосту пока дойдешь.

— Ух ты какая! — восхищенно воскликнул он.

— Какая? Нехорошая, да? Правда нехорошая?

— Прелесть!

— Какая там прелесть! Вот проснется отец, он задаст этой прелести.

Сильное течение на середине понесло лодку вниз, но она сумела выгресть единственным веслом к берегу, и скоро они подплыли к какому-то забору под толстенными комлями верб.

— А ну ухватись! А то унесет.

Он успел ухватиться за какой-то скользкий трухлявый столбик в воде, она соскочила на берег, и они вытащили лодку на траву.

— Утром найдут. А теперь... Вот этим переулочком, а потом вдоль сада, перейдем картошку, и там, под костелом, на берегу наш домик. Ты не очень устал? — вдруг заботливо спросила она, заглядывая ему в глаза.

— Нет, ничего...

Они пошли окраинным заросшим муравой переулком. Она несла в обеих руках свои туфли, на ходу слегка касаясь его плечом, и он чувствовал тепло ее тела, проникавшее сквозь тонкую материю кофточки, ее близкое дыхание, непонятный, волнующий запах ее волос и думал, как ему невероятно здорово повезло сегодня. Он уже был благодарен своей невоспитанности, позволившей ему ту нелепую шутку в Барановичах, благодарен этому городу с его древностями и этой ночи, такой непохожей на все множество прожитых им ночей.

— Янинка,— тихо позвал он, вплотную приближаясь к ней сзади, но она лишь торопливо прибавила шагу.

— Янинка...

— Вот обойдем этот домик, потом свернем на тропку, перейдем сад и...

— Янинка!

— Давай, давай! Не отставай. А то скоро папа встанет, да как спохватится...

По заросшей росистыми лопухами тропке вдоль забора они взобрались выше и пошли быстрее. Начинало светать. Рядом в густом мраке садов еще дремало ее Занеманье. Хорошо утоптанная стежка вывела их на край зацветавшего белыми звездочками картофельного поля, где сильно запахло молодой ботвой и свежей землей. Янинка быстро шла впереди, и он, путаясь в ботве сапогами, едва поспевал за ней. Уже совсем близко на светлеющем фоне неба были видны островерхие купола костела, за которым где-то в теплой речной воде тихо плескались ее плоты. Оставалось пройти еще, может, сотню шагов, отделявшую ее от костельной ограды, как в ночную тишь еще не проснувшегося города вторгся странный, чужой, поначалу тихий, но быстро крепнувший звук. Янинка впереди остановилась.

— Что это? Что это гудит? Это самолеты?

Да, это приближались самолеты, но он все еще не верил, что так нелепо и не вовремя начинается то самое страшное, что последние недели скверным предчувствием жило, угнетало людей. Цепляясь за слабенькую надежду, он зажал в себе испуг, страстно желая, чтобы это страшное все же не сбылось, прошло мимо.

Испуганная Янинка, будто ища защиты, метнулась к нему, и только он холодеющими руками обнял ее, как близкие могучие взрывы бросили их на твердые стебли картофеля. Тугие горячие волны ударили в спину, густо забросав их землей...

Переждав первый оглушительный грохот, он поднялся, Янинка вскочила рядом с разметанными по плечам волосами, в испачканной кофточке, зачем-то стараясь надеть на грязную ногу туфлю. Ог-

лушенный взрывами, он не сразу услышал ее до странности слабый голос:

— На мост беги! Скорее!!! Там за костелом мост...

Ну конечно, ему надо было на мост, в штаб, он уже знал, что́ случилось, и иначе поступить не мог.

Не оглядываясь больше, сшибаемый ударами взрывов, падая и вскакивая, он помчался на мост, унося в горячечном сознании едва схваченный зрением испуганный образ девушки с туфлей в руках, оставшейся среди росистой, зацветающей ботвы картофеля...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Его вырвали из забытья вдруг долетевшие откуда-то выстрелы. Сначала ему показалось: это случайные выстрелы в здешней деревне, но, обеспокоенно прислушавшись, он понял, что доносились они с другой, противоположной деревне, стороны. Именно с той стороны, откуда они приволоклись сюда ночью и куда ушел Пивоваров. Мертвея от скверного предчувствия, Ивановский перестал дышать, вслушался, но никакого сомнения не оставалось — стреляли оттуда.

Наверное, самые первые выстрелы он пропустил, не расслышав, он спохватился, только когда звучно ударила винтовка и в тишине длинно протрещал автомат. Ну, конечно, это был его автомат — немецкие стреляли иначе, это он чувствовал точно. Ивановский оперся на локоть, но в груди что-то сдавило, от боли перехватило дыхание, он закашлялся, сплюнув запекшиеся кровяные сгустки, и снова без сил откинулся на скамье. Пока он кашлял, кажется, там затихло, и сколько он ни вслушивался потом, ничего больше не было слышно.

Едва справляясь с охватившим его волнением, лейтенант нащупал подле лавки часы — было сорок минут восьмого, значит, Пивоваров отсутствовал около двух с половиной часов. Если до той деревни лишь километр, пусть два, то он уже должен был возвратиться. Но если его нет, значит... Значит, он пробрался в деревню, но не сумел уйти незамеченным, и вот его подстерегла та же участь, что и вчера Ивановского.

Лейтенант опять приподнялся, вслушался, попытался заглянуть в едва брезжившее в черной стене окошко, но не дотянулся до него, сел на скамье. Ему было дурно, огненно-красные круги плыли перед глазами. Рукой он нащупал ставшую удивительно тяжелой винтовку. Но к чему теперь была винтовка — в баньке его пока никто не тревожил, никого поблизости не было. Вряд ли он мог что сделать, чтобы облегчить участь Пивоварова, явно попавшего в беду в деревне, но и ничего не делать он тоже не мог. С огромным усилием, хватаясь рукой за стены, он вышел в предбанник и ногой толкнул дверь.

Была зимняя ночь — как все ночи в ноябре этого года — с ветром, низким беззвездным небом, тусклым, в сутеми утопавшим пространством. Снег лежал свежий, чистый, и на нем ясно было видно несколько глубоких следов Пивоварова, они вели вдоль стены бани и сворачивали за угол.

Задыхаясь от налетов порывистого ветра, Ивановский подождал минуту, вслушиваясь в глухую тишину ночи, но ни выстрелов, ни шагов, ни криков — ничего больше не было слышно. Тогда, не прикрывая двери, он опустился у порога, прислонясь к бревнам, и сидел так час, а может, и больше. Он весь был во власти тягостного, болезненно-напряженного ожидания, ясно сознавая, что если Пивоваров в ближайшие минуты не явится, то он не явит-

ся уже никогда. Но он не явился ни в ближайшие минуты, ни в ближайшие за ними часы. Когда уже ждать стало невмочь, Ивановский, не поднимаясь, на четвереньках дотянулся до кубика своих часов за порогом — было без десяти минут десять.

«Зачем же я посылал его? Зачем посылал? — раскаянно думал лейтенант.— Какие тут, к чертям, лыжи? Какой штаб? Лишь погубил его, да и себя тоже...»

Конечно, без Пивоварова он ничего уже не мог, но если он сам был обречен, то следовало подумать, как спасти хотя бы бойца. А он послал его на такое дело, где на удачу приходился один шанс из тысячи. Немцы могли устроить засаду, посадить в поле секреты и наверняка усилили охрану в деревне — не так просто было пролезть между ними. Если не удалось это ему прошлой ночью, когда штабисты были еще не пуганы, то тем более не удастся нынешней.

«Ну так что же теперь? Что?» — в тысячный раз спрашивал себя Ивановский, скрючившись сидя возле двери бани. Впрочем, он уже знал, что́ — он только тянул время, до последней возможности надеясь, что Пивоваров, может, придет. Но когда уже стала совершенно отчетливой вся тщетность его надежды, лейтенант, опираясь о стены, поднялся на ноги.

Он испытывал себя, чтобы знать, на что он способен или, может, не способен уже ни на что. Хотя и с трудом, но держаться на ногах он еще мог, особенно если иметь дополнительную под руками опору. Теперь опорой ему служили стены, а в поле он сможет опираться на приклад винтовки. Ноги коекак повиновались ему, хуже было с дыханием и с головой тоже. Но он подумал, что голова, быть может, отойдет на ветру в поле, а с дыханием он какнибудь сладит. Если помаленьку, с частыми остановками, экономно расходуя силы...

Его намерение уже целиком завладело им, и лейтенант вернулся в баньку, рассовал по карманам обоймы из подсумков. Вещмешок он не смог поднять на себя и оставил его на скамейке, зато взял с собою гранату. Дольше он уже не мог оставаться здесь ни минуты и, хватаясь за двери, вышел наружу.

Шатко, едва не падая, но с упорной, трудно объяснимой решимостью он прошел шагов двадцать по четким следам Пивоварова и только потом остановился. Винтовка оказалась куда более тяжелой, чем казалось вначале, но он на нее опирался, когда готов был упасть, и особенно в минуты остановок. Сам бы он уже не устоял на дрожащих от слабости своих ногах. Отдышавшись, каким-то странным загнанным взглядом поглядел назад. Там сиротливо темнела их банька, где они благополучно пережидали сутки и куда ему, судя по всему, уже не вернуться.

Во второй заход он не одолел, наверное, и полутора десятков шагов и, пошатываясь, остановился от кашля. Кашель был самое худшее в этом его пути — глубинной нутряной болью он пронизывал его до слепящей темноты в глазах. Но Пивоваров, кажется, неплохо перевязал, подсохшая корка на ране хотя и причиняла боль, но не давала сползти бинту, кровь из раны больше не шла. Если бы только не эта адская боль внутри!

Он хотел идти как можно скорее, и теперь показателем его скорости была банька. Едва удерживаясь на ногах, он сделал уже четыре или пять остановок, всякий раз оглядываясь, но банька, как нарочно, все серела и серела в сутеми, с большим нежеланием отдаляясь в ночь. Прошло, наверно, не меньше часа, прежде чем серая темень окончательно поглотила ее.

Вокруг был снег, ветер и поле,— лейтенант по-

нял, что вроде бы достиг середины пути, теперь возвратиться он бы уже и не смог, на это у него просто не было сил. Он и не оглядывался, сзади уже ничего не могло быть — все хорошее или плохое ждало его впереди.

Потом он два раза подряд упал, не устоял на ногах, вставал не сразу, полежав на снегу, пережидая боль потревоженной раны. Другой раз ему и вовсе не повезло — упал он неловко, спиной, болевой удар был настолько глубок, что на короткое время он, кажется, потерял сознание. Потом он очнулся, но долго лежал на снегу, все время чувствуя под собой округлость гранаты. Но все-таки нашел силы подняться, сесть, потом, пошатываясь, встать на ноги и сделать несколько первых, самых трудных шагов.

Он старался ни о чем не думать, он даже не очень осматривался, зато не отрывал взгляда от снега, по которому тянулись глубокие следы Пивоварова. Они шли в одном направлении, похоже, боец довольно уверенно помнил их путь из вчерашней деревни и быстро шел к ней. Ивановский теперь больше всего боялся сбиться с этого следа.

А сбиться было легко, особенно когда накатывала очередная волна немощи и темнело в глазах. Но тогда он останавливался, уперев в землю винтовку, и ждал, пока пройдет приступ слабости. Кроме того, ему сильно докучал ветер — не давал смотреть вдаль, выжимал слезы из глаз; иногда его сильные порывы так толкали Ивановского, что тот, пошатнувшись, едва не валился с ног. Но он упорно противостоял ветру, собственной слабости, боли. Он понимал, конечно, что вряд ли встретит Пивоварова, скорее всего никогда больше не увидит бойца, но все равно должен был пройти тот роковой путь, на который услал его. Конечно, он слишком многими рисковал на этой войне, слишком многие по его вине нашли себе на

ней смерть. Но этот его риск отличался от всех — он был последним, и потому Ивановский должен был довести его до конца. И если в этой дьявольской игре со смертью он не сберег многих, то не берег и себя, и лишь это оправдывало его командирское право распоряжаться другими. Иного права на войне он не хотел признавать. В худшем случае, прежде чем умереть самому, он должен убедиться, что где-нибудь в этом поле не лежит, истекая кровью, его Пивоварчик.

Он шел и шел — шатко, расслабленно, то и дело останавливаясь и опираясь на тяжелую длинную винтовку Пивоварова. Однажды, когда от усталости совсем подкосились ноги, сел на снегу, долго отдыхал. Но подняться опять на ноги стоило такого мучительного труда, что больше он не рисковал садиться и отдыхал, опираясь на приклад винтовки. Останавливался он теперь через каждые четыре или пять шагов. У него уже не хватало дыхания.

Опять ему показалось, что он прошел километра три, если не меньше, и он усомнился в правильности слов Пивоварова относительно расстояния до этой деревни. Трудно было поверить, что она в километре-двух от их баньки. Жаль, на этот раз он не прихватил с собой часов и не мог проследить за временем. Но по каким-то неуловимым признакам ему показалось, что деревня уже недалеко, похоже, он находился в ее окрестностях. Следы Пивоварова, однако, все тянулись и тянулись, казалось, им не будет конца в этом поле. Где боец мог находиться сам, трудно было угадать, хотя Ивановский готовился к самому худшему. Но могло статься и так, что он, как и они вчера, ушел от погони и, раненный, где-нибудь скрылся в поле.

Ивановский едва не прошел мимо него, так как шаги на снегу все тянулись куда-то, и впереди ни-

чего не было видно. Но вдруг в стороне, в мутной тьме ночи среди заметенного снегом бурьяна его внимание привлекло какое-то неясное движение, вроде бы мельтешение чего-то. Сперва он даже и не взглянул туда, лишь скользнув взглядом по снегу, но потом остановился, вгляделся, и что-то в нем смятенно содрогнулось внутри.

Тихо, почти беззвучно, на ветру трепыхалось что-то вроде обрывка бумаги, хотя было непонятно, откуда тут могла взяться бумага. Он сошел со следов Пивоварова и, не в силах оторвать взгляда от недалекой гривки бурьяна, заплетаясь ногами в глубоком снегу, потащился туда.

Еще издали и как-то вдруг он различил белый неясный холмик в этом бурьяне, характерную линию лежащего человеческого тела, черные голенища сапог в снегу. Он остановился. В сознании его мелькнуло странное недоумение — кто может лежать тут, в ночном поле, в такую стужу? Лейтенант почему-то не решился признаться в том, что увидел Пивоварова, наверно, слишком нелепым было видеть в этой позе его бойца, казалось, это кто-то другой, случайный, чужой здесь человек.

Но все же это был он, его последний боец, его Пивоварчик. Он неподвижно лежал в разодранном маскхалате, без шапки, с обсыпанной снегом стриженой головой, раскинутыми ногами. Лейтенант не сразу заметил, что снег вокруг был густо истоптан множеством ног и в нем местами чернели кружлячки автоматных гильз.

Доковыляв до бурьяна, Ивановский выронил из рук винтовку и упал рядом с бойцом. Озябшими пальцами он схватил его голову, приподнял, но, запорошенная снегом, она давно, видно, утратила всякие признаки жизни и была просто мертвой головой человека, лишенного малейшего сходства с его Пиво-

варовым. Ивановский принялся ощупывать его тело — разодранный маскхалат смерзся в крови, телогрейка тоже примерзла к окровавленному телу бойца, наверно, с близкого расстояния расстрелянного очередью. Снег под его телом и возле тоже смерзся твердыми корявыми буграми.

— Что же они с тобой сделали? Что они сделали? — стыл на его губах недоуменный вопрос. Но, что они сделали, и так было ясно. Видно, настигнутый ими Пивоваров был расстрелян в упор. Возможно также, они расстреляли его раненого, лежавшего на снегу в этом бурьяне, и теперь из множества дыр в его телогрейке торчало светлое клочье ваты. Карманы брюк были вывернуты, гимнастерка расстегнута, худая окровавленная грудь засыпана снегом. Автомата нигде поблизости не было видно — автомат, наверное, забрали немцы.

Поняв, что все уже кончено и никуда больше идти не надо, Ивановский сник, обессилел и молча сидел, уронив руки на снег. Рядом лежало бездыханное тело бойца. Необычайная опустошенность овладела лейтенантом, ни одного желания, ни одной ясной мысли не было в его голове. Лишь где-то, на самом дне его чувств, медленно тлел какой-то забытый уголек гнева, почти озлобления. Этот уголек разгорался, однако, все более, чем дольше шло время. Но он уже не имел конкретной направленности против кого-то — скорее, это догорала его человеческая обида на такой его неудачный конец. Теперь Ивановский уже знал точно, что не выживет, не спасется, не пробьется к своим, что и его смерть будет на этом же поле, меж двумя безвестными деревнями, и никто уже не доложит начальству ни об их гибели, ни об этом немецком штабе. Штабу, разумеется, никто ничего сделать не сможет, потому что наши далеко, а мертвые лишены малейшей возмож-

ности что-либо сделать. И ему ничего более не оставалось, как сидеть рядом и ждать, когда мороз и ранение отнимут у него последние остатки жизни. В чем-то это было даже заманчиво, так как освобождало его от изнурительной борьбы с немцами, болью, собой. Чтобы закончить все побыстрее, может, имело смысл выдернуть чеку из противотанковой гранаты и отпустить планку... Ее мощный взрыв растерзает их тела в клочья, разметет вокруг снег, выроет в земле небольшую воронку, которая и станет для них могилой. Если его кончина затянется или ему окажется невмоготу, видно, так и придется сделать. Иного уже не оставалось. И пусть простят его Родина, люди — не его вина, что не выпало ему лучшей доли и не обошло его то самое страшное на войне, после которого ничего уже не бывает.

Наверное, он бы не долго протянул на морозном ветру и навсегда бы остался возле своего напарника, если бы в скором времени до его слуха не донеслись из ветреной тиши странные звуки. По-видимому, слух был самым выносливым из его чувств и бодрствовал до последнего предела жизни; теперь именно слух связывал его с окружающим миром. Сперва Ивановский подумал, что ему почудилось, но, вслушавшись, он отогнал от себя все сомнения — в самом деле где-то урчала машина. И он вспомнил, как прошлой ночью в поле наткнулись на автодорогу, ведущую в село, но где она могла быть сейчас, он не имел представления. Тем не менее где-то она была — совсем недалеко в ночной серой темени по ней шла машина. Вскинув голову, лейтенант напряженно и долго прислушивался к натужному гулу мотора, пока его звук совершенно не пропал вдали.

Это неожиданное событие растревожило его почти уже успокоенное сознание; новое, противореча-

щее его чувствам желание зародилось в его душе. Он перестал думать о своем несчастье, насторожился, гневное отчаяние оформилось в цель — последнюю цель его жизни. Эх, если бы это случилось раньше, когда у него было немножечко больше сил!..

Боясь опоздать, он завозился на снегу, подтянул под себя раненую ногу, как-то оперся на руки. Сначала поднялся на колени и затем попытался встать на ноги. Но он не сумел удержать равновесие и упал плечом в снег, глухо, протяжно застонав от боли в груди. Минут десять лежал, сцепив зубы и боясь глубже вдохнуть, потом начал подниматься опять. С третьей попытки это ему удалось, он наконец утвердился на дрожащих ногах, пошатнулся, но все же не упал. Он забыл взять винтовку, которая лежала чуть поодаль, у ног Пивоварова, но теперь у него уже не было уверенности, что, нагнувшись за ней, он не упадет снова. Поразмыслив, он так и не рискнул нагнуться, чтобы не упасть, а быстро, как бы с разбегу, пошел по снегу.

Он изо всех сил старался соблюсти равновесие и удержаться на ногах, но ему все время мешал сильный ветер. Кажется, тот все усиливался и временами так размашисто толкал в грудь, что устоять на ногах было невозможно. И он снова упал, отойдя от Пивоварова, может, шагов на тридцать, тут же попытался подняться, но не сумел. Превозмогая сильную боль в правом боку, полежал, уговаривая себя не спешить, выждать, более расчетливо тратить свои слабые силы. Но желание скорее дойти до дороги так сильно завладело им, что рассудок уже был плохой для него советчик — теперь им руководило чувство, которое становилось сильнее доводов разума.

И он снова поднялся, сперва на четвереньки, потом на колени, потом слабым рывком и огромным усилием — на обе ноги. Самое трудное было удер-

жаться на них именно накануне самого первого шага — потом обретала силу инерция тела, и первые несколько шагов давались сравнительно легко. Но следующие опять замедлялись, его вело в сторону, затем в другую, и наконец он падал, вытянув перед собой задубевшие от мороза руки.

Его вынужденные остановки после падения становились все более продолжительными, иногда казалось, что он уже и не поднимется больше, в ускользающем сознании временами прерывалась связная цепь времени, и он вдруг прохватывался в недоумении: где он? Но он твердо знал, куда ему надо, ни разу не спутал направления, в полузабытьи ясно памятуя последнюю цель своей жизни.

Но вот, однажды упав, он понял, что подняться больше не сможет. На эти вставания тратилась масса сил, которых у него оставалось все меньше и меньше. Он лег на жгуче морозном снегу и лежал долго. Наверное, слишком долго для того, чтобы когда-либо подняться. Но в самый последний момент он вдруг понял, что замерзает, и это испугало его: замерзнуть он уже не мог позволить себе. И тогда он просто пополз, разгребая локтями и коленями мягкий пушистый снег.

Скоро, однако, оказалось, что ползти вовсе не легче, может, даже труднее, чем плестись на ногах,— лейтенант до конца выдыхался и падал ничком. Это была бесконечная слепая борьба со снегом, но она же имела и преимущество перед ходьбой — не надо было вставать на ноги, что сберегало остаток его совершенно истощенных сил. И он греб, замирал на снегу и опять греб, пока хватало воздуха в легких. Весь его путь состоял из этого исступленного копания в снегу и длительных промежутков полузабытья. Но сознание его все-таки не выключалось надолго, оно было сильно целью его последних минут и вла-

ство диктовало собственную волю его изнуренному телу.

Грудь его распирало от кашля, но он не мог ни вздохнуть, ни откашляться — он боялся приступа боли, которого бы, наверно, уже не выдержал. Тем не менее однажды кашель так сильно сотряс его, что он, задохнувшись, упал головой в снег. Когда он кое-как откашлялся, то ощутил на губах теплый соленый привкус. Он сплюнул, ясно увидав на снегу кровь, смерзшимся рукавом маскхалата вытер губы, опять сплюнул, но кровь все шла. На снег с подбородка текла темная небыстрая струйка, и он совершенно обессиленно лежал на боку, в растерянности ощущая, как медленно уходит из тела жизнь. Однако, полежав так, он снова испугался приближения неизбежного, хотя он и знал, что когда-нибудь это должно случиться. Но теперь его больше занимал вопрос: где дорога? Ему надо было успеть добраться до нее прежде, чем его настигнет смерть. Вся его борьба на этом поле была, по сути, состязанием со смертью — кто кого обгонит? Похоже, теперь она настигла его и шла по пятам в ожидании момента, чтобы сразить наверняка.

Но нет! Черт с ней, с кровью, авось вся не вытечет. Он чувствовал: что-то в нем еще оставалось — если не силы, так, может, решимость. Он пролежал полчаса, жуя и глотая снег, чтобы остановить кровь, и как будто остановил ее.

От холода сводило челюсти, но губы утратили солоноватый привкус, и он медленно, с остановками, пополз дальше, волоча на поясе единственную свою гранату.

Когда из снежных сумерек перед ним выплыли сизые силуэты берез, он понял, что это дорога и что он наконец дополз до нее. Великое напряжение почти всей ночи разом спало, в глазах его помутилось,

он лег простреленной грудью на морозный снег в прорытой им борозде и затих, потеряв сознание...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Он все-таки пришел в себя, совершенно закоченев на морозе, и сразу же вспомнил, где он и что ему надо. Его последняя цель жила в нем, даже когда исчезало сознание, он только не знал, сколько прошло времени в его беспамятстве и на что он еще способен.

В первую минуту он даже испугался, подумав, что опоздал: над дорогой лежала тишина, и ниоткуда не доносилось ни звука. В поле мело, вокруг шуршал поземкою ветер, лейтенанта до плечей занесло снегом; руки его так задубели, что невозможно было пошевелить пальцами. Но он помнил, что должен всползти на дорогу, только там его путь мог считаться оконченным.

Снова потянулась изнурительная борьба со снегом, Ивановский полз медленно, по метру в минуту, не больше. Он уже так ослабел, что не мог сколько-нибудь приподнять себя на локтях, и сунулся боком по снегу, упираясь больше ногами. Боли в раненой ноге теперь почему-то не чувствовал, наверно, там что-то отболело. Зато в груди у него все жгло, горело, все там превратилось в средоточие разбухшей, не утихающей боли. Он очень боялся, чтобы опять не пошла горлом кровь,— чувствовал, что тогда все для него и окончится, остерегался глубже вдохнуть, не мог позволить себе откашляться. Он берег простреленные свои легкие как нечто самое нужное, от чего всецело зависели последние часы его жизни.

Физически он был плох и понимал это. Сознание его, как канатоходец на проволоке, все время балан-

сировало между явью и беспамятством, готовое в любую секунду сорваться в небытие, и лейтенант огромным усилием воли едва превозмогал цепко завладевшую им немощь.

Терять сознание, когда рядом была дорога, он просто не мог позволить себе.

Наверно, он все-таки справился бы с собой и медленно, трудно, но все же вполз на дорогу, если бы не канава, которая коварной западней пролегла на его пути. Ивановский едва не задохнулся, угодив в ее засыпанную снегом глубину, и закашлялся. Сразу же почувствовал, что началось кровотечение, тугой и противный сгусток выскользнул из его рта, и теплая струя крови потекла с подбородка по шее, на снег.

Ничком он лежал на бровке канавы и думал, что ничего более нелепого нельзя себе и придумать. С таким трудом, сверх всяких возможностей ползти всю ночь к дороге, чтобы умереть в двух шагах от нее. Завтра поедут немцы, и он вместо того, чтобы встретить их с гранатой в руках, предстанет перед ними жалким замерзшим трупом.

Вот так судьба!

Сознание снова начало ускользать от него, и тут уже не могло помочь никакое его усилие. Взгляд застлало мраком, весь мир сузился в его ощущениях до маленькой, светлой, все убывающей точки, и эта точка погасла. Но все же и на этот раз что-то превозмогло в нем смерть и вернуло его истерзанное тело к жизни.

Без всякого волевого усилия с его стороны точка опять засветилась, и он вдруг снова почувствовал вокруг снег, стужу и себя в ней, полного немощи и боли. Он сразу же заворошился, задвигался, стараясь во что бы то ни стало вырваться из снеговой западни — канавы, всползти на дорогу. Пока он был жив,

он должен был занять последнюю свою позицию и там кончить жизнь.

И он все-таки выбрался из канавы, боком взвалив на дорожную бровку тело, прополз еще четыре шага и обмер, обессиленный. Под ним была колея, он ясно чувствовал ее своим телом, объехать его было невозможно. Он коротенько, с удовлетворением выдохнул и начал готовить гранату.

С гранатой, однако, пришлось помучиться долго и, может, труднее еще, чем в канаве. Непослушные помороженные пальцы его, кажется, вовсе потеряли осязание, он несколько минут тщетно пытался развязать ими тесемку, которой граната была привязана к поясу, но так и не смог этого сделать. Пальцы лишь слепо блуждали по бедру, он просто не смог нащупать ими концы тесьмы, и это было ужасно. Он едва не заплакал от этой так внезапно сразившей его измены, но действительно, руки первые начали не повиноваться ему. Тогда он локтем нащупал увесистый кругляк гранаты и, собрав все силы, которые еще были у него, надавил им на гранату сверху вниз, к паху.

Что-то там треснуло, и он сразу почувствовал, что освободился от тяжести,— граната лежала в снегу под ним.

Но, видно, он слишком много потратил сил и ничего уже больше не мог. Он долго лежал в колее, через которую мела, вихрилась поземка, и думал, что так его, наверно, и заметет снегом. Но теперь пусть заметает, ему спешить некуда, он достиг своей цели,— теперь только бы сладить с гранатой. Утратившими осязание руками он все же нащупал ее железную рукоять, но чеку разогнуть не смог. Тогда он кое-как пододвинул гранату по колее к подбородку и зубами вцепился в разогнутые концы чеки.

В другое время ему достаточно было короткого

движения двух пальцев, чтобы разведенные эти концы выпрямились и их можно было выдернуть из рукоятки. Теперь же, сколько он ни бился, ничего с ними сделать не мог. Они будто примерзли там, будто их припаяли намертво, и он, выламывая зубы и раздирая десны, полчаса грыз, крутил, выгибал неподатливую проволоку. Наверно, только после сотой попытки ему удалось захватить оба конца зубами и свести их вместе. Все время он очень боялся, что не успеет, что на дороге появятся машины, и он ничего им не сделает. Но машины не появились, и, когда граната была готова к броску, он стал терпеливо, настойчиво ждать.

Но ждать оказалось едва ли не самым трудным из всего, что ему довелось пережить за ночь. Чутким, обострившимся слухом он ловил каждый звук в поле, но, кроме неутихающего шума ветра, вокруг не было никаких других звуков. Дорога, которая вынудила его на все сверхвозможные усилия и к которой он так стремился, лежала пустая. Все вокруг замерло, уснуло, только снежная крупа монотонно шуршала о намерзшую ткань маскхалата, медленно заметая его в колее.

Все вслушиваясь и решительно ничего не слыша, Ивановский с тоской начал думать, что, по всей видимости, до утра здесь никто и не появится. Не такая это дорога, чтобы по ней разъезжали ночью, разве кто-нибудь появится утром. Утром наверняка должен кто-либо выехать из этого штаба или проехать в него; не может же штаб обойтись без дороги. Но сколько еще оставалось до этого утра — час или пять часов,— он не имел представления. Он очень жалел теперь, что оставил в баньке часы, наверно, это было совсем неосмотрительно: не зная времени, он просто не мог рассчитать свои силы, чтобы дотянуть до утра.

Бесчувственными пальцами стискивая рукоять гранаты, он лежал грудью на снегу и ждал. Глаз он почти не раскрывал, он и без того знал, что вокруг тусклая снежная темень и ничего больше. В сторожкой ночной тишине был хорошо слышен каждый звук в мире, но тех звуков, которых он так дожидался, нигде не было слышно.

Оказавшись в неподвижности, он быстро начал терять тепло и коченел, вполне сознавая, что мороз и ветер расправятся с ним скорее, чем это могли сделать немцы. Он все сильнее чувствовал это каждой клеточкой своего насквозь промерзшего тела, которое не могло даже дрожать. Просто он медленно, неотвратимо, последовательно замерзал. И никто здесь не мог ему ни помочь, ни ободрить, никто и не узнает даже, как он окончил свой путь. При мысли об этом Ивановский вдруг почувствовал страх, почти испуг.

Никогда еще не был он в таком одиночестве, всегда в трудную минуту кто-нибудь находился рядом, всегда было на кого опереться, с кем пережить наихудшее. Здесь же он был один, как загнанный подстреленный волк в бесконечном морозном поле.

Конечно, он обречен, он понимал это с достаточной в его положении ясностью и не очень сожалел о том. Спасти его ничто не могло, он не уповал на чудо, знал: для таких, с простреленной грудью, чудес на войне не бывает. Он ни на что не надеялся, он только хотел умереть не напрасно. Только не замерзнуть на этой дороге, дождаться рассвета и первой машины с немцами. Здорово, если бы это был генерал, уж Ивановский поднял бы его в воздух вместе с роскошным его автомобилем. На худой конец сгодился бы и полковник или какой-нибудь важный эсэсовец. По всей вероятности, штаб в деревне большой, важных чинов там хватает.

Но для этого надо было дожить до рассвета, выстоять перед дьявольской стужей этой роковой ночи. Оказывается, пережить ночь было так трудно, что он начал бояться. Он боялся примерзнуть к дороге, боялся уснуть или надолго потерять сознание, боялся подстерегавшей каждое его движение боли в груди, боялся сильнее кашлянуть, чтобы не истечь кровью. На этой проклятой дороге его ждала масса опасностей, которые он должен был победить или избежать, обхитрить, чтобы дотянуть до утра.

Рук своих он почти уже не чувствовал, но теперь начали отниматься и ноги. Он попытался пошевелить в сапоге пальцами, но из этого ничего не вышло. Тогда, чтобы как-то удержать уходящее из тела тепло, начал стучать смерзшимися сапогами о дорогу. В ночной тишине сзади послышался глухой, тревожный стук, и он перестал. Ног он не согрел нисколько, но самому стало плохо, и он, чувствуя, что теряет сознание, последним усилием сунул под себя гранату. Гранату теперь он вынужден был беречь больше, чем жизнь. Без нее все его существование на этой дороге сразу лишалось смысла.

После глубокого провала в сознании, за которым последовал долгий промежуток липкой изнуряющей слабости, он снова почувствовал пронизывающий холод и ужаснулся. Казалось, этой ночи не будет конца и никакие его ухищрения не помогут ему дождаться утра. Но как же так может быть? — едва не вопил в нем протестующий, полный отчаяния голос. Неужели же так ничего и не выйдет? Куда же тогда пропало столько его усилий? Неужели же все они тщетны? Но ведь они — продукт его материального «я» и сами, наверное, материальны, ведь они — обессилевшая его плоть и пролитая им кровь, почему же они должны в этом сугубо материальном мире пропасть без следа? Превратиться в ничто?

Тем не менее он почти наверняка знал, что все окончится неудачей, но отказывался понимать это. Он хотел верить, что все им совершенное в таких муках должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге — может, в другом месте, спустя какое-то время. Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей нужности на этой земле и в этой войне? Ведь он зачем-то родился, жил, столько боролся, страдал, пролил горячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то, пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл.

И он вдруг поверил, что будет. Что непременно будет, что никакие из человеческих мук не бессмысленны в этом мире, тем более солдатские муки и солдатская кровь, пролитая на эту неприютную, мерзлую, но свою землю. Есть в этом смысл! И будет результат, иначе быть не может, потому что не должно быть.

Ему бы только дождаться утра...

Тем временем мороз и стужа добирались уже до его внутренностей, и он чувствовал это. Краем меркнущего сознания он следил за тем, как холод медленно, но неотступно завладевал его обескровленным телом, и считал короткие минуты, которые ему еще оставались.

Однажды, приоткрыв глаза, он вдруг изумился и с трудом раскрыл их пошире. Над полем светало. Тьма, которая, казалось, целую вечность плотным пологом укрывала землю, заметно приподнялась над ней, в поле стало просторней, прояснилось небо, и в нем четко обозначились заиндеве-

лые вершины берез. В сумеречную даль уходила переметенная поземкой дорога.

Схватив все это непродолжительным, однако, утомившим его взглядом, он хотел опустить на снег голову, как вдруг что-то увидел. Сперва ему показалось: машина, но, пристально вглядевшись, он понял, что это скорее повозка. Утомленный долгим рассматриванием, он уронил голову на снег, чувствуя в себе замешательство, страх и надежду одновременно. Огромный, как приговор, вопрос встал перед ним: кто мог ехать в повозке? Если крестьяне, колхозники, то это было из области чуда, в которое он недавно еще отказывался поверить; к нему приближалось спасение. Если же немцы... Нет, он решительно не мог взять в толк, почему в этот утренний час из деревни, в которой размещался большой штаб, должны появиться на повозке немцы. Все в нем восстало против такого нелепого предположения, всю ночь он ждал чего угодно, но никак не обозную повозку с поклажей, до которой ему не было дела.

Тем не менее это была повозка, и она медленно приближалась. Уже стали видны и впряженные в нее лошади — пара крупных рыжеватых битюгов, которые, помахивая короткими хвостами, легко, без видимого усилия, тащили за собой громоздко нагруженный соломой воз. На самом его верху, пошевеливая вожжами и тихо переговариваясь, восседали два немца.

Ивановский замер в колее, совершенно раздавленный тем, что увидел, такого невезения он не мог себе и представить. После стольких усилий, смертей и страданий вместо базы боеприпасов, вместо генерала в изысканном «оппель-адмирале» и даже штабного с портфелем полковника ему предстояло взорвать двух обозников с возом соломы.

Но, видно, другого не будет. По крайней мере, для

него ничего уже не будет. Он делал последний свой взнос для Родины во имя своего солдатского долга. Другие, покрупнее, взносы перепадут другим. Будут, наверно, и огромные базы, и надменные прусские генералы, и злобные эсэсовцы. Ему же выпали обозники. С ними он и столкнется в своем последнем бою, исход которого был предрешен заранее. Но он должен столкнуться — за себя, за Пивоварова, за погибших при переходе передовой Шелудяка, Кудрявца. За капитана Волоха и его разведчиков. Да мало ли еще за кого... И он зубами вырвал из рукоятки тугое кольцо чеки.

Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал болтать что-то, в то время как другой, в надвинутой на уши пилотке, что правил лошадьми, уже вытянул шею, вглядываясь в дорогу.

Ивановский, сунув под живот гранату, лежал неподвижно. Он знал, что издали не очень приметен в своем маскхалате, к тому же в колее его порядочно замело снегом. Стараясь не шевельнуться и почти вовсе перестав дышать, он затаился, смежив глаза; если заметили, пусть подумают, что он мертв, и подъедут поближе.

Но они не подъехали поближе, шагах в двадцати они остановили лошадей и что-то ему прокричали. Он по-прежнему не шевелился и не отозвался, он только украдкой следил за ними сквозь неплотно прикрытые веки, как никогда за сегодняшнюю ночь с нежностью ощущая под собой спасительную округлость гранаты.

Не дождавшись ответа, один из двух немцев — тот, что сидел на возу с поднятым воротником шинели,— прихватив карабин, задом сполз на дорогу. Другой остался на месте, не выпустив из рук вож-

жей, и Ивановский простонал с досады. Получалось еще хуже, чем он рассчитывал: к нему приближался один. Лейтенант внутренне сжался, в глазах его потемнело, дорогу и березы при ней повело в сторону. Но он как-то удержался на самом краю сознания и ждал.

Клацнув затвором, спешившийся немец повелительно крикнул что-то и, разбрасывая длинные полы шинели, пошел по дороге. Карабин он держал наизготовку, прикладом под мышкой. Ивановский понемногу отпускал под собой планку гранаты и беззвучно твердил, как молитву: «Ну иди же, иди...» Он ждал, весь превратясь в живое воплощение Великого ожидания, на другое он уже был не способен. Он не мог добросить до него гранатой, он мог только взорвать его вместе с собой.

Однако этот обозник, видать, был не из храбрых и шел к нему так осторожно, что казалось, вот-вот повернет назад. И все-таки он приближался. Ивановский уже различал небритое, какое-то заспанное его лицо, встревоженный взгляд, заиндевелые пуговицы его шинели. Однако, не дойдя до Ивановского, он снова прокричал что-то и остановился. В следующее мгновение лейтенант сам едва не вскричал от обиды, увидев, как немец поднимает к плечу карабин и прицеливается. Целился он неумело, старательно, ствол карабина долго ходил из стороны в сторону; напарник его все говорил что-то с воза, наверно, давал советы.

Ивановский по-прежнему лежал неподвижно, широко раскрытыми глазами глядя на своего убийцу, и слезы отчаяния скатились по его щекам. Вот он и дождался утра и встретил на дороге немцев! Все кончалось глупо, нелепо, бездарно, как ни в коем случае не должно было кончиться. Что же ему оставалось? Встать? Крикнуть? Поднять вверх руки?

Или тихо и покорно принять эту последнюю пулю в упор, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли?

Он, разумеется, исчезнет, теперь уж ему оставались считанные секунды, за которыми последует Вечное Великое Успокоение. В его положении это даже было заманчиво, так как разом освобождало от всех страданий. Но останутся жить другие. Они победят, им отстаивать эту зеленую счастливую землю, дышать полной грудью, работать, любить. Но кто знает, не зависит ли их великая судьба от того, как умрет на этой дороге двадцатидвухлетний командир взвода, лейтенант Ивановский.

Нет, он не встал, потому что встать он не мог, и не вскрикнул, хотя, наверное, мог бы еще кричать. Он лишь содрогнулся, когда в утренней сторожкой тишине грохнул одиночный выстрел и еще одна пуля вонзилась в его окровавленное тело. Она ударила ему в плечо, наверное, раздробив ключицу, но все равно он не пошевелился и не застонал даже. В последнем усилии он только сжал зубы и навсегда смежил глаза. С трепетной последней надеждой он слушал приближающиеся на дороге шаги и думал, что, возможно, еще и не все потеряно, возможно, и удастся. Какой-то самый ничтожный шанс у него еще оставался.

Медленно, очень осторожно, превозмогая охватившую его новую боль, он поворачивался на бок, высвобождая из-под тела гранату. И он освободил ее как раз в тот момент, когда шаги на дороге затихли поблизости. Он почувствовал под боком тугой, пружинистый рывок планки, и тотчас неожиданно звучно хлопнул взрыватель. Немец коротко вскрикнул, очевидно, пускаясь наутек, Ивановский успел еще услышать два его отдавшихся в земле шага и потом ничего уже больше не слышал...

Несколько секунд спустя, когда осела переме-

шанная со снегом пыль, его уже не было на этой дороге, лишь небольшая воронка курилась на ветру в одной ее колее; вокруг на разметанном снегу валялись мерзлые комья земли да за канавой ничком, разбросав по грязному снегу длинные полы шинели, лежал отброшенный взрывом труп немца. Повозка с растрясенной по снегу соломой опрокинулась набок, в упряжке, тщетно пытаясь встать на ноги, бился крупный гнедой битюг, а по дороге к деревне бежал уцелевший обозник.

1972



КОЛОКОЛА ХАТЫНИ

Торжественно-траурный перезвон хатынских колоколов днем и ночью разносится по Белоруссии. Густой автомобильный поток с утра до вечера мчится по логойскому тракту, устремляясь к лесной развилке с шестью огромными пепельно-серыми буквами — «Хатынь». Некогда глухая, ничем не примечательная деревенька стала народным памятником, образным воплощением скорби и героизма белорусов в их невиданной по напряжению борьбе с иноземными захватчиками.

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя этих побед. У французов есть Орадур, у чехов — Лидице. Символ безмерных испытаний белорусов — Хатынь, представляющая 136 белорусских деревень, уничтоженных в годы войны вместе с их жителями.

...Кровавая трагедия этого лесного поселища в 26 дворов произошла 22 марта 1943 года, когда отряд немецких карателей внезапно окружил деревню. Фашисты согнали хатынцев в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался спастись от огня, расстреляли из пулеметов. 149 человек, из них 76 детей, навечно остались в этой адской могиле.

Солнечный мартовский день сорок третьего года оказался последним днем Хатыни, но страшная участь ее, как и многих других деревень Белоруссии,

была предначертана задолго до ее фактической гибели.

Скрупулезно разрабатывая многочисленные аспекты войны против Советского Союза, Гитлер вместе с судьбой всего белорусского народа учел и Хатынь. Согласно плану «Ост», принятому фашистской верхушкой в 1941 году, три четверти белорусов предусматривалось выселить с занимаемых ими территорий, а остальных онемечить, превратив в безмолвных рабов немецких колонистов. Но, к удивлению гитлеровских заправил, этот народ, один из «тишайших» и миролюбивых народов Европы, проявил такую несокрушимую стойкость, что еще в начале войны поставил в немалое затруднение руководство фашистской Германии. Имперский министр по делам оккупированных восточных областей небезызвестный А. Розенберг в одном из своих выступлений жаловался: «В результате 23-летнего господства большевиков население Белоруссии в такой мере заражено большевистским мировоззрением, что для местного самоуправления не имеется ни организационных, ни персональных условий» и что «...позитивных элементов, на которые можно было бы опереться, в Белоруссии не обнаружено».

Да, действительно, трудно было обнаружить «позитивные элементы» на земле, что горела под ногами захватчиков. Уже весной 1942 года один из подчиненных того же Розенберга доносил своему шефу: «Сегодня партизанская война охватывает всю Белоруссию, почти все леса заполнены партизанами, некоторые части районов находятся в их власти. Нападению подвергаются целые города. Нападают на немецкие военные отряды и на гражданские управления, проводят митинги среди гражданского населения. Партизанская война грозит превратиться в тыловой фронт немецкой армии».

Надо отдать ему должное, фашистский прислужник трезво смотрел на вещи и видел далеко. В глубоком немецком тылу действительно бушевал второй фронт партизанской войны, которая неотвратимо перерастала во всенародную войну против фашизма.

Отечественная война для Белоруссии поистине явилась войной всенародной с ее первого дня и до самой победы. Три года белорусский народ провел ее на переднем крае в буквальном смысле этого слова, ни дня не зная хотя бы относительной безопасности. Фронт борьбы с гитлеровцами проходил по каждой околице, по каждому подворью, по сердцам и душам людей. Всенародная война означала, что каждый был воином со всеми вытекающими из этого слова обязанностями и последствиями. Независимо от возраста, пола, невзирая на то, имел он оружие и стрелял в оккупантов или только сеял картошку и растил детей,— каждый был воином. Потому что и оружие, и картошка, и подросшие дети, да и само существование каждого белоруса в итоге были направлены против оккупантов.

Белорусский народ под руководством партии коммунистов в кратчайшие сроки сформировал почти полумиллионную партизанскую армию, вооружил ее, снабдил продовольствием, одеждой, фуражом и тяглом. На территории целых районов в течение всей войны функционировали органы Советской власти, боевые бригады партизанских зон месяцами противостояли блокирующим немецким войскам, снятым с фронта. Немцы очень скоро поняли, что этот небольшой и миролюбивый народ выселить с его территории не удастся ни при каких обстоятельствах, как не удастся и онемечить, и оккупанты взяли чудовищный курс на его ликвидацию.

Сознавая ежеминутную опасность, грозившую фашистам из лесов и деревень лесной стороны, они

в своем страхе дошли до исступления и готовы были убивать каждого. И если они не убили всех, то лишь потому, что не в состоянии были сделать это физически. Ведь чтобы убить всех, прежде надо было их победить. А это оказалось сверх возможностей гитлеровцев, и они убивали, мстя за свои неудачи на фронте и в боях с партизанами, убивали тех, кто помогал или только мог помочь партизанам. Три года непрерывно погибали люди, и это была тяжкая плата народа за свою независимость, которая обошлась Белоруссии в два миллиона двести тридцать тысяч человеческих жизней. Погиб каждый четвертый.

Оккупанты не прочь были сжечь каждую белорусскую деревню, превратить в развалины каждое местечко, каждый поселок. Известные «основания» для этого у них имелись, так как не было на белорусской земле самой малой деревеньки, которая бы не послала в лес хотя бы нескольких своих партизан, чтобы затем содержать их, давать им прибежище в холодное время, помогать разведкой. Воевали даже дети (Марат Казей) и глубокие старики (братья Цуба). Вместе с партизанами они разрушали железные дороги, уничтожали телефонную и телеграфную связь, сжигали мосты, устраивали лесные завалы, днем и ночью вели разведку...

Да, гитлеровцы не прочь были уничтожить в Белоруссии всех и все, чтобы на десятилетия ликвидировать всякие условия для существования белорусов, хотя у них и недостало для этого силы и возможностей. И все же за три года войны они сумели стереть с лица белорусской земли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень.

Необычайный разгар всенародной войны против гитлеровцев, разумеется, не является следствием жестокости последних, как иногда считают на Западе. Так же неверно было бы связывать массовое

уничтожение населения Белоруссии и ее материальных ценностей с развертыванием партизанской борьбы, хотя оба эти фактора довольно тесно переплетаются между собой. Точно так же, как наш народ органически не мог вынести чужестранного господства на своей земле, немецкий фашизм не мог согласиться с малейшим неподчинением оккупированных народов. Итогом была смертельная схватка двух политических и социальных систем, двух идеологий.

Правое дело одержало победу.

При всей колоссальной громадности собственных усилий и понесенных потерь белорусы отдают себе отчет в том, что им одним, без повседневной помощи и поддержки со стороны других народов страны, никогда бы не выстоять в этой жестокой борьбе. Лишь великое братство советских народов обеспечило им необходимую помощь и дало силы выстоять в самый их трудный час. Сотни тонн грузов оружия и боеприпасов доставлялись на партизанские аэродромы с Большой земли, в советский тыл эвакуировались тяжелораненые. Действиями партизанских сил на протяжении всей войны заботливо руководил единый центр — Штаб партизанского движения в Москве. Все это удесятеряло силы народа в борьбе и укрепляло его волю к победе.

На белорусской земле в огне партизанской войны закалялась великая дружба братских советских народов. В одном партизанском строю плечом к плечу сражались с врагом белорусы и русские, украинцы и евреи, азербайджанцы и грузины, литовцы и таджики. Нередко случалось, что, оказавшись свидетелями невиданной самоотверженности народа, на его сторону переходили люди из стана врага, представители народов Европы, обманом втянутых в войну. Так, именно в Белоруссии приняли свое прекрасное и роковое для себя решение двадцать итальянских

солдат, отказавшихся стрелять в мирных жителей и за это расстрелянных фашистами. На нашей земле совершали свои подвиги легендарной храбрости чех Ян Налепка и немецкий антифашист Фриц Шменкель. Сотни словаков, венгров, румын, пригнанных фашистами на нашу землю с оружием в руках, обратили это оружие против своих угнетателей.

Белорусы будут вечно признательны героической Советской Армии, сотни тысяч солдат которой отдали свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. У подножий многочисленных обелисков над их могилами никогда не увядают живые цветы — знак вечной памяти благодарного им народа.

...Печально и вместе с тем величественно днем и ночью, в ветер и непогоду разносится над Белой Русью звон колоколов Хатыни. Бесконечен людской поток. Молча стоят люди у венка памяти, положенного на месте захоронения пепла хатынцев, молча читают они обращение мертвых к живым — черные слова на мраморе: «Люди добрые, помните: мы любили и жизнь, и Родину, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть боль и печаль станут силой и мужеством, чтоб смогли вы мир и покой на земле увековечить, чтобы нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала».

И каждый молча подписывается под черными буквами на белом мраморе, под словами клятвы живых:

«Родные наши! В печали великой, склонив низко головы, стоим мы перед вами. Вы не покорились лютым убийцам в черные дни фашистского нашествия. Вы приняли смерть, но пламя сердец вашей любви к Советской Родине навек неугасимо. Память о вас у нас навсегда, как бессмертна наша земля и как вечно яркое солнце над нею».

Хатынь одна, но смысл этого слова огромен.

Прежде всего это светлая память о тех, кто заслужил наибольшее право жить, но кого нет с нами. Хатынь — это миллионы жертв прошлой войны. Это **все**, и что не менее важно, это еще и **каждый**.

Первого сентября в школах Белоруссии на уроках мужества — такие уроки проводятся в каждой школе — учителя рассказывают ребятам об истории Хатыни. Чуткие ребячьи сердца охотно раскрываются навстречу давнему подвигу, который становится для них первым и главным уроком года.

Со дня открытия мемориала тысячи людей побывали в Хатыни, но людской поток к этому священному месту не прекращается никогда. Сюда идут те, кто был осужден немецким фашизмом на смерть, но с оружием в руках отстоял свое право жить, кто был обречен не родиться, но вопреки всему родился и живет свободным. Сюда приезжают многие люди с Запада и Востока, желающие честно понять, почему мы не только устояли, но и победили в прошлой войне.

Хатынь живет не только в народной памяти, но и в повседневных делах народа. О ней пишут в газетах, снимаются фильмы, слагаются стихи и поэмы. Хатынь преподает человечеству простой, как истина, и вечно мудрый урок бдительности. Человечество должно помнить о смертельной угрозе, которой оно избежало в недалеком прошлом, и ежедневно заботиться о будущем. На земле, увы, никогда не было недостатка во властолюбивых авантюристах, всегда зрели на ней темные силы агрессии, охочие поживиться за счет миролюбия других. В наше жестокое время недостаточно любить мир — надо уметь его защищать.

Гитлеровский фашизм разгромлен в открытом бою, человечество победило самого заклятого своего врага. Но ядовитые семена реванша еще не уничтожены. Затаившись на Западе, спокойно благоденст-

вуют постаревшие палачи Хатыни и сотен других белорусских, русских и украинских сел. В тиши респектабельных кабинетов они осмысливают свои промахи в прошлой войне и планируют новые «блицы» на новой технической основе. В сокрушительном разгроме сорок пятого уцелели и некоторые из немецких пособников, тщащиеся нравственным и правовым камуфляжем прикрыть свои уголовные преступления в годы войны. Но не будет оправдания их злодеяниям, как и не будет прощения. То, что сотворено ими на белорусской земле, невозможно простить.

...Отлично архитектурно исполненный Мемориал Хатыни хранит для человечества название каждой сожженной белорусской деревни, каждый мертвый хатынский двор, каждое имя хатынца. В скорбном бетонном мортирологе проходят имена взрослых, подростков, детей — Яскевич Антон Антонович, Яскевич Елена Сидоровна, Яскевич Виктор, Яскевич Ванда, Яскевич Вера, Яскевич Надя (9 лет), Яскевич Владик (7 лет), Яскевич Толик (7 недель), и так все 149 погибших.

Все, кроме одного — Иосифа Иосифовича Каминского, случайно спасшегося из горящего, набитого людьми сарая и в бронзе вставшего теперь с мертвым сыном на вытянутых руках. В этих его руках все — и скорбь, и трагизм, и беспредельная воля к жизни, давшая белорусам возможность выстоять и победить...

СОДЕРЖАНИЕ

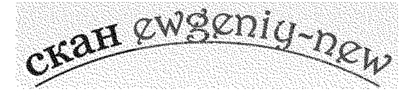
Василий Владимирович Быков

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА

Редактор В. В. Хорева
Художественный редактор Б. Д. Зевин
Технический редактор Н. С. Стаменова
Корректор В. И. Огрызко

ИБ 00630

Сдано в набор 12.11.84 г. Подписано к печати 29.12.84 г.
Формат 70×100/32.
Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 15,55. Усл. кр.-отт. 15,79. Уч.-изд. л. 15,07.
Тираж 50 000 экз. Заказ 780. Цена 1 р. 10 к.
Магаданское книжное издательство, 685000, Магадан, пр. Ленина, 2.
Магаданская областная типография Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли Магаданского облисполкома,
685000, Магадан, пл. Горького, 9.



Быков, Василь

Б95 Дожить до рассвета: Пер. с белорус. – Магадан: Кн. изд-во, 1985.— 381 с.

Содерж.: Сотников; Дожить до рассвета: Повести; Колокола Хатыни: Очерк.

1 р. 10 к. 50 000 экз.

В книгу известного советского писателя, участника Великой Отечественной войны В. Быкова вошли повести «Сотников» и «Дожить до рассвета», а также публицистический очерк «Колокола Хатыни».

Б $\frac{4702120200—003}{М—149(03)—85}$ 13—85 84Бел7

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В МАГАДАНСКОМ КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ В 1985 ГОДУ ВЫЙДУТ КНИГИ:

ШОЛОХОВ М. А.
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
(на эвенском языке)

ИСАЕВ Е. А.
СУД ПАМЯТИ
Поэмы

ДРАГУНСКИЙ В. Ю.
ОН УПАЛ НА ТРАВУ
Повесть

СЕРЕДИНСКИЙ В. П.
ВАЛЬКА
Повесть

БОРИН Б. М.
НА ВОЕННЫХ ДОРОГАХ
Новеллы


1 р. 10 к.